

## БЕЗ ДРУГА

Хорошо с другом в лугах. Если весной — зеленые травы светом серебристым плещут и убегают под ветром теплым за дымчатые дали, отороченные белым частоколом берез, наливающихся искристым и крепким, как горное вино, соком. Жизнь обнялась и переплелась в порыве обновления с природой, и приветствует нас, понимающих ее и воспевающих ее.

Хорошо с Иваном Акуловым, братом моим старшим, зимою, в сумерках лунных, в раздумиях звездных, часы и часы коротать, стихами и прозой потчужа его и себя, его и себя. А снег, Богом осиянный, поскрипывает и поскрипывает, а звезды голубоватыми лучами легонько, легонько сугробов неуклюжих касаются и касаются.

И луна — за окном слушает. Умная — как старуха. Верная — как собака. Вечная — как тайна. Знакомая — с рождения твоего. Понятная — с детства и до зрелости твоей. Над тобою — она. Над судьбою твоею — она. И над Россией — она, языческая, скифская, русская, близкая, близкая: погладить ее, одинокую, хочется, да занебесные меридианы в звездах и трепете, недосыгаемы... А луна необъятностью вселенской правит... Царица дум человеческих!..

Хорошо на веранде, в холодке, согревающим тело твое и краткую радость твою, сесть с Иваном Ивановичем — поделиться неуловимым счастьем, похвастаться мелькнувшим авторитетом, славою друг друга намеренно известить и дух творческий выше луны, аж до звезд пушкинских, вскинуть гордо и непременно.

Мой первый друг,  
Мой друг бесценный!..

Кто-кто, а я, я-то знаю — как без друга луна за облако прячется, а звезды — зажмуриваются и гаснут. Без друга — луга не зеленеют. Без друга памятью о друге держишься.

В аэропорту Челябинска, ожидая задерживающийся самолет, мы с Иваном Ивановичем пообедали на скамейке. Я завернул остатки своей еды в газету, мячиком завернул и, не целясь, швырнул точно в урну, каменную и широкозевую.

— И все у тебя так, с абсолютным попаданием, все,— глубоко вздохнул Иван Иванович, — а я, гляди, сверну, кину и промажу, и все, Валя, все у меня так, все!..

Акулов свернул, покомкал, завернул, потискал газетный мячик с остатками еды и, долго целясь, прищуриваясь и как бы в перестрелке ловя широкозевую урну на мушку, кинул, отсчитав до трех, и промазал безобразно. Газета расфасовалась — куриная обглоданная скелетина вывалилась и застряла, повисла на урне, а жидкий творог обрызгал гранитные ступени и мраморные колонны главного входа, усеяв асфальт шелухою.

Появился милиционер, юный и бравый:

— Кто грызет семечки, ест кур и творогом балуется?..

— Он, он!.. — показал на меня Иван Иванович.

Милиционер взял меня под локоть: “Пройдемте!” Объяснялись, объяснялись — впустую.

Я сунул милиционеру трояк, и милиционер важно козырнул мне. А на скамейке Иван Иванович возмутился:

— Трояк ему, бездельнику, да я бы и горсть семечек ему не насыпал, горсть бы ему не насыпал, а ты, купец, трояк. Сегодня пропьет, а завтра тебя же и оштрафует, он же, Валя, свинья, аэропортовский хряк! .. Повозился, повозился на скамейке:

— А Зоя тебя любит, провожала!.. А прозаик-то она, не обижайся, Валя, баба и баба есть, ее ли дело литература? Но, Валя, талантливая она, талантливая, ты не ори, не ори, не меняй верного друга, фронтовика, на бабу, ты стал задиристый и занудный, как хохол!..

—А ты не занудистый и не задиристый?

— Бабник ты, Валя, куда бы ты ни прилетел — бабы, а я газету бросил в урну — и меня же милицейский боров готовился поймать!..

Автор неповторимых романов “В вечном долгу”, “Крещение”, “Касьян Остудный”, “Ошибись, милуя” и пронзительных по своей страстности, содержательности и глубине рассказов, где каждая фраза — образ и тайна, каждая картина природы — живая, Иван Акулов так умело берег в себе отношение к людям, что лепил их щедро, по-хозяйски разбираясь в них и заботясь о них, как о родственниках, рядом творящих. Они творили дело, а он творил слово. И слово его — дело. Язык произведений Ивана Ивановича Акулова — тайна. Как рыдание кукушки — тайна, как сверкание инея на березе — тайна, так и художественный мотив писателя — емкий, колоритный, текучий, веющий удалью остроумия, древним страданием и блеском вдохновенной воли мастера, тайна.

Я завидовал его начитанности, уму, уральской твердости духа и дерзкому достоинству. Он не одаривал осетрами критиков, не подпаивал коньяком редакторов, не лебезил в приемных делегатов и прочих литкаганов: их для него не существовало.

Идеал деятеля у Акулова — Столыпин. Ему посвящен роман “Ошибись, милуя”... Роман выточен затворнически, так тонко, так фактово, что затоптать роман нельзя было и в то, икающее кремлевскими буфетами время. А в наше — неувыдаемая задача темы и ее классическое разрешение автором не дадут снизить значение романа в обществе, как бы опять воюющем и раскулаченном... Тренируют Россию.

“Крещение” — солдатская биография. “В вечном долгу” — биография колхозного рая...

“Касьян Остудный” — уничтожение русской семьи: отца, жены, детей, выкорчевывание трудяги, пахаря и защитника. Романы — не спутать ни с какими и не затерять в библиотечных захлямях. Лишь А. Ананьев отверг “Ошибись, милуя”. И потрепал равновесие Ивана Ивановича. Напечатал М. Алексеев...

Ветер — летит к ветру. А родник бежит к роднику. Зря ли?..

Сказал я об Акулове добро в “Литературной России”, а Виктор Астафьев мне пишет:

“Понравилось, хорошо!” А Борис Можяев звонит: “Удалец ты, и я о нем печатал!..” А Петр

Проскурин замечает: “Акулов такой русский — замуруют!..” А Егор Исаев благодарит:

“Завидую, сильно. Валя!..” А Юрий Бондарев, размышляя: “Акулов непременно один из самых честных ратных художников, непременно, но зависти остерегайся и ревности!..”

Юрий Васильевич прав: роман Акулова “Касьян Остудный” волочили, волочили по журналам, а мне пришлось, опираясь на свою наивность, провести роман через издательство “Современник”, через ЦК КПСС и цензуру.

Наивность моя всегда меня уберегала от испужливости и неверности другу: чего

хитрить простаку?.. И стихи эти я почти выплакал о нем, чувствуя приближение смерти к

нему, а так — в быту я и не потерял его: то до калитки его подскачу, то телефон его наберу, а его уже давно нет и нет, да и никогда теперь не появится он передо мною...

Шорохи листьев и хвороста хруст,  
Друг заболел мой и дом его пуст.

Тень у колодца и тень возле гряд,  
Звезды угрюмо над крышей горят.

Шепчутся, думают, движутся в ночь,  
А вот не могут бедняге помочь.

Яблоня юная, в чувствах светла,  
Гроздь заревую к дверям принесла.

И отшатнулась, стоит на меже,  
Значит, хозяин далеко уже...

И у тоскующих звезд на виду  
Ветер поет, завывает в саду.

Ветер поет, завывает и сам,  
Быстро уносится к стынью-небесам.

В новых поколениях к Арсению Ларионову деревенской болью примыкал он, к Эрнсту Сафонову тянулся, нежный и замкнутый, а меня беспощадно пытал:

— Где ты выследил масонов? Меня на войне изувечили, а я не встречал их, где?

— Встретишь, встретишь!.. А изувеченному здоровью не радуйся!..

Мы и на Высших литературных курсах, вместе учась, головами над масонами покачивали: я легче, а он тяжелее. Что молодость на лету поймет — старость ногтем поскрести желает, да ведь масоны не пентюхи, а мы, русские, в ущерб себе в злых подвохах сомневаемся, потому и успешно уничтожают нас.

Выйди на предпоследней остановке перед Сергиевым Посадом из электрички и зашагай налево по тропинке мимо елей, мимо низеньких домиков к пруду, а от пруда чуть в горку, и прямо перед тобою — деревенское кладбище, тихое, дремное. Еще пройди по центральной аллейке вниз и опять перед тобою, но с правой стороны — черная ограда, а в ней две могилки, две красноватые плиты: “И. И. Акулов. 1922—1988” и “Г. Г. Акулова. 1928—1988”. Умер он вслед за женою... Обезынттересился в самом себе.

При жизни ему мало было дано места среди живых, умер — и среди мертвых. Но жизнь писателя Ивана Акулова — огромна: солдат, доброволец 1941-го, простреленный на блиндажной усадьбе Тургенева. Свинцовая капля фашистской ненависти прожгла легкие и через горло вышла в русский туман. Отливали ее в Берлине, а оплакивают ее в России.

Порою на Ивана Ивановича Акулова наваливался идеологический страх, загоняя его в мою избу рано, рано, едва успела блеснуть заря сквозь утренний туманец — он:

— Ты, Валентин, читал в очередном томе Брежнева: “Антисемитам нет места в СССР,

среди братских народов СССР им нет места!..”

— Правильно, нет... Есть место не русским антисемитам, а еврейским антисемитам!.. Зашел ты в суд — еврей судит. Зашел в прокуратуру — еврей допрашивает. Зашел в театр — Гамлет, а еврей. Зашел в цирк — клоун в Израиль на гастроли сматывается.

— А русские? — интересовался Акулов.

— А русские Карла Маркса изучают, интернационалиста, и тоскуют, мол, когда же клоун из Тель-Авива приедет, мы хоть улыбнемся ему!

— Константин Симонов антисемит?

— Антисемит. Русский язык ему дороже материнского, еврейского.

— А Борис Полевой? Русский язык обожает больше своего, еврейского.

— Антисемит, Ваня, антисемит.

— Чаковский? Интернационалист, ленинец, патриот, еврей, Валя?

— Антисемит.

— Бродский?

— Антисемит. Русский классик, еврей питерско-римский.

— И Кобзон антисемит?

— И Кобзон!.. Не желает петь на еврейском, антисемит.

Иван Иванович веселел:

— И чиво они лезут за нас танцевать и сочинять, даже плакать согласны за нас, леший русские!.. Валя, мне сдается — и Арафат антисемит, Маркс, а? Что скажешь, антисемит Арафат? Взбадривает арабов, как нас, людей русских, взбадривают кобзоны и бродские? Арафат, Валя, замечательный антисемит, и еврей изумительный, драчливый!

Иван Иванович замыкался:

— Ну, поговорили-то как мы с тобою удачно, Валя, поговорили-то! Значит, Брежнев антисемит, хы-м-м!..

Идеал прозаика у Акулова — Бунин. Идеал поэта — Клюев. Мне кажется, все они и натурами не чужие: истязание себя ради правды и русского молитвенного оздоровления — в их творчестве. Иван Иванович просиживал над ними сутками, восхищаясь:

— Бунин колдун и Клюев колдун!..

— Ты сам колдун, почище Клюева!..

— О, молодец, говори, говори, говори, молодец!.. — приветствовал Акулов.

\* \* \*

С двумя орденами Великой Отечественной он вошел в сельский магазин. Хмельной верзила ткнул пальцем в орден: “Дед, не надоело?” Иван Иванович, бледный и оскорбленный, попытался, на цыпочках, достать кукишем по носу двухметрового амбала, но тот мотал башкою и ржал, издеваясь. Тогда Иван Иванович схватил березовую задвижку и погнал быка во двор. Во дворе бык хотел упереться, но, слышав: “...я фронтовик, я тебя по хребетине орясиной поглажу, идиот!..” — трусцой, озираясь, за складами скрылся. Из-за стены высунулся — и ощерился. “Я т-те!” — топтался Акулов. Второй-то орден искал Акулова долго. Его и омыл Акулов юною щедрою кровью, а получил спустя эпоху. Акулов не тот, кто цепляет на грудь заслуги. Нашли — и происшествие?.. К смерти Иван Иванович готовился. Цитировал мне Христа, Плутарха, Сократа, Платона. И все касающееся необъяснимой смерти. Сокращая расстояние между собою и смертью, чаще и чаще слушал Шалапина, Смирнова, Штоколова,

Лемешева...

Нытик и озорник. Ноет, ноет — взорвусь. Сошурится, ссутулится, завьет челочку.

“Леонид Ильищ, по-отещиски, по-отещиски нас благослови на идеологищиский пленум!..” — Зимянина пародирует. И негодует: “Шесть месяцев у них разница в возрасте, и “по-отещиски”, тьфу!..”

Ценил П. Краснова, В. Карпова, З. Прокофьеву, И. Уханова, В. Машковцева, Л. Фомина, В. Лаптева, уральцев. Ненавидел, когда вылупившаяся на экране знаменитость, мурло, цинично поносила отчие веси, ненавидел и обобщал: “Эх, Валя, раньше-то в России рождались, жили и умирали около материнской избы, ну кроме войн там, бед и стихий разных, а теперь? В общежитие Нурекской ГЭС русских девушек Карла Маркса любить командируют, подонки!..”

Хохотал, как ребенок, наблюдая важных витий в соцгеройских утюговых пиджаках, важно дующихся в президиумах возле важного и надутого президента Горбачева:

“Фазаны, оголтелые, закормленные фазаны, и все, как старый пионер Андрюша Дементьев, на симпатичного Генриха Боровика смахивают, прорабствующие упыри”.

...Невероятно стеснялся женщин. Если женщина не замаскировала к нему меркантильного интереса, сокрушался и, скрепя сердце, мозговал: за сколько же рублей он должен ей купить шкатулку?.. Советские “песенники” содрогали его до омерзения. А чем их забавишь?

Пытался проникнуть в аппарат Горбачева и вздрючить мордастых оглоедов за травлю Бориса Николаевича Ельцина: “Бориса, Валя, травит завистливый торгаш, уральца травит сиропник, лавочник. Вот я доберусь до лысого фирмача и шмякну его, адепта мафии, вцепился в мужика!..” Да, спасибо Господу — не добрался. Каялся бы, сострадающий!.. Декламировал:

Лидер в шайке утонул,  
Только тапкой болтанул,  
Мураховский иль Бодюл, угадай за поллитру,  
Чарку налью и полотенцем тубы вытру!

Я дружил с ним четверть века. Наши семьи дружили четверть века. В Москве и в деревне мы с ним — друг около друга. Иван Акулов сожжен заезжей ложью, русским бесправием и демагогическими лозунгами преступных вождей. Не выносил их. Даже в хвори и суете восклицал: “Валя, на Горбачеве-то лица нет, лица нет, Валя! О, этот все продаст, все продаст! Какие же он подписал протоколы. Валя?! Его приватизировали!..” Так Иван Акулов реагировал на “итоги переговоров” Горбачева и Регана в Рейкьявике. Не случайный человек в медицине, считал: “Он марксистский параноик, еще и фазан, разорит, завербованный, государство самодовольством, невежеством и заседательным зудом!” Намой иредупредигельные шпильки пророчил: “Он последний ленинец, дальше — кровавая бойня солидарных по классу, да, да, кровавая бойня, и надолго!”

Крепкий, подвижный, заболел внезапно и неотступно. Я думаю: от ржавчины пули — накопилась во времени. У меня отец умер от “инородного тела в организме” — от мелких свинцовых частиц. Или Иван Акулов “схватил дозу” в октябре 1986 года на Урале, в Свердловске и Челябинске, — выплеснулась в атмосферу атомная зараза. А он тогда ездил по прадедовским бурьянным околицам...

Я не встретил пока человека, который бы так обнаженно скорбел о русской земле,

униженной и обобранной. Занимался статистикой — подсчитывал миллионы сгасших в карательных сражениях правительства против нас, сгасших в раскулачиваниях подсчитывал, в тюрьмах и расстрельных подвалах. Занимался геноцидом — катастрофой, полуистреблением, распылением русских интернациональными ордынцами. Скажу об этом после, надеюсь. Картина жуткая. Раскроили нас и раззаплатили... Не чувствующий это — юродив, а трусящий говорить про это — подлец. Но приветствующий русскую погибель — поплатится!..

Личная дисциплина его, целеустремленность, решительность и беззаветность — безмерны: тяжело было с ним, до взрыва, но гнев у нас был минутный, а дружба — два еще человека, ему равных: старший брат мой, погибший у меня на глазах, и отец мой, такой же неодолимый и деспотичный в обязательствах, нравственных и гражданских.

За романы Акулова, изданные в “Современнике”, меня допрашивали в КПК:

— Почему Кадушкин, герой его романа, в колодец бросился?..

— Так легче. Захлебнулся, и все. Сколько же терпеть грабителей?

— Не грабителей, а строителей новой деревни. Термины не те. Ясно?

Мать моя с колхозных полей возвращалась ночью, брала меня, и мы шли на кладбище помянуть трех моих братиков, ее сыновей, — вот я и привык ходить на могилки ночью, когда там никого нет. Вырос — начал трусить, а потом — опять привык, как в детстве. А мама, бывало, сидит посреди могилок и, как седая сова, головою во мгле вертит...

Есть ли разница — вчерашний райком и нынешняя префектура: лгут одинаково — цинично и жестоко. Выкормыши интернациональной орды, хищные усмирители сердец возмущенных наших, грабители в демократических креслах.

Болота поглотили гать,  
А засуха взяла болота.  
Вы ж продолжаете мне лгать  
И в нищете винить кого-то.

И в прошлом ищите пример  
Или ответ на тьму вопросов,  
Главнoдержавный инженер,  
Законодатель и философ.

Пустуют ваши трактора.  
Дома подслепы и горбаты.  
Отишурмовали на ура  
Европу красные солдаты.

Горит над кладбищем звезда.  
Стучат, стучат за ветром шалым  
По людям бронепоезда,  
А не по выпиленным шпалам...

Не научусь я понимать  
Вас, говорящих с пьедестала,  
Когда измученная мать

Рожать и плакать перестала.

Россия, отчая страна,  
В глазах тоска,  
в плечах сутулость,  
И нет дороги, чтоб она  
В могилу братскую не ткнулась!..

Дороги, дороги, но действительно, где же, где такая дорога?

\* \* \*

И, когда невыносимо, я беру фонарик и ночью, ночью, под свист метели, нахожу могилку Ивана Ивановича, разгребаю ладонями первый робкий сугроб и, помолчав, к себе возвращаюсь... Камень опадает с души. И войди сейчас ко мне Иван Иванович, я спокойно, как старшего брата или же отца, приму его: ни испуга, ни забвения — запоздалая награда.

Везти дружбу в гору жизни тяжело. Тяжелее, чем везти тачку с песком. Как-то я осветил фонариком, вечером, могилки в Челябинске, а памятник отцу не найду. Ищу, ищу — не найду. Могилки свидетелей бойни в Афганистане отцову загородили. Дети безвинные наши...

Акулов, помню, телефоном разбудил меня и Михаила Львова на заре: “Конец, верховные жрецы войска в Афганистан загнали!”

Распад великой своей страны, захваченной одряхлевшими бандитами, Иван Акулов определил с точностью врача и математика. В литературном процессе выбирал талант, а не фигуру. Постоянно его поддерживали Борис Можаяев, Феликс Кузнецов, Юрий Прокушев, Анатолий Ланшиков, Николай Сергованцев, отметили его книги.

Едем на скорости на “Ниве” в Москву, взлетаем на холмы Радонежья. Два собора с боков. Золотоглавые. Крестами огненными реют в голубое утро марта. Земля в зеркальных искрящихся разводьях. И теплый ветер, тугой и родниковый, в стекла бьет. А над дорогой — свежее, ширококрылое колокольное солнце звенит и простор окликает.

— Останови машину! — Вышли. — Красота-то какая, Валь, а я умираю... рак...

Я пытаюсь тормознуть катящуюся на него хандру:

— Рифма есть к этому слову, знаешь ее?..

Грустно улыбается:

— Дурак, да?..

Едем дальше. И снова:

— Не ставь мой гроб в ЦДЛ, запомни, кто придет — тот и придет, понял? И хоронить — здесь!..

Резкий, а нежный. Мученические глаза и думающие о чем-то непостижимом и отнятом у народа, у его несчастной России. Нежность он проявлял к писателю Владимиру Богатыреву. И меня приучил беречь дружбу с ним. А однажды я привез в дом лихого композитора. Тот оказался типичным фазаном, заносчивым, глупым и наглым. Надоел мне и Акулову: все — о себе, о себе, о себе и о своем таланте...

Вдруг обращается к Акулову:

— Иван Иванович, а что вы скажете о моих глазах?

Иван Иванович прицелился и с сожалением промолвил:

— А ничего не скажу, пустые и водянистые! — Я провалился под стал, а он гостю:

— А вы плюньте на обиду, выпьем за фронтовиков, отец-то у вас убит, вижу!..

Заминка. Пауза. Покашливание.

— Почему? — насторожился композитор.

— А вы собою заняты лишку, как модная женщина. Беда ребят, комсомольских барчат, выросших на партийных шницелях без отцовской хворостины!..

Композитор вспыхнул и обнял Акулова...

Впечатлительно читал Иван Иванович книги Эрнста Сафонова, Арсения Ларионова, подчеркивая в них, авторах, то, чем сам жил и мучился, — русскую обманутую душу интернациональными прохвостами: “Не охмурят их ни должностями, ни медалями, гляди, какие независимые, русские и честные!..” Коряво и трогательно афишировал их в официальных беседах. Рафинированный дипломат, эстет.

С поста Главного редактора художественной литературы Госкомитета по печати РСФСР Акулова выдавил ЦК КПСС, Беляев и Севрук, и кривоzubые инструкторы, небрежно разводя, как у старой няни, руки Михалкова и СП СССР, выдавили Семанова, Куняева, Поливина, Родичева, Мамонтова, Никонова, Ганичева, Палькина. Да только ли их?.. А Чалмаев, Петелин, Селезнев?

Когда капековские быки бодали и пропарывали рогами в “Современнике” мои ребра, Акулов помогал Николаю Воронову и другим писателям заслонять русское издательство. В моем архиве — черновики веские защитительных документов, составленных Иваном Ивановичем и отправленных им, Акуловым, на высочайшие имена державных бурдастых быков. Он как бы хватал березовую задвижку, орясину, отгоняя их. Но просто ли отогнать агрессивных животных? У магазинов — быки, и в ЦК КПСС — быки.

Бездарный сын бездарного классика, соцгероя, разгромил рассказы в рукописи и вернул Акулову. Я позвонил отпрыску: “Зачем вы лезете туда, где вы чужой и вредный?..” Николай Воронов сообщил о подлости директору “Советского писателя”, отпрыска отстранили.

Редко знал похвалу Иван Иванович. Друзей, близких у него почти не было. Очень одинокий, суровый и нежный. Но суровый с виду, а копни — золотая нежность, свет совести, как на тех огненных крестах, затрепещет. Да, большой человек — собор, в нем отогреваются людские обиды и воскресают радостью, как сам он: радовался и мелочи, лишь бы не мешала...

Выкосил траву на участке, покрасил забор, подфортил наличники и на струганой липовой скамеечке, уже переодетый в белую рубашку, белые брюки и на голове — белая фуражка, сел. А я намалевал трафарет: “Дом образцового содержания”. И несусь:

— Иван Иванович, поссовет обязал прибить у тебя под карнизом! ..

— Что ты делаешь! — забегал он вокруг. — Что ты делаешь, ты меня убиваешь!..

А сам разыгрывал — до скандала. Или — гладит собаку Шевцова: “Породистый, не шавка, серьезный!..” А собака легонько цап его за палец. Промолчал. Вытерпел. А дома мне деликатно жалуется:

— Ты объясни Шевцову, собаку ему надо держать порядочную, а не такую дуру, он известный человек, а бобик у него — шалопай шалопаем, лучше кормить дворняжку, чем этого распутного охламона!..

— Зажрался!.. Занячил его Михалыч...



— Вот, вот, — утешался Иван Иванович.

В сентябре ему исполнилось бы семьдесят пять лет. Умер в конце декабря 1988 года, перед Новым годом. А для меня — живой, нужный, надежный. Бывало, приедем и за лопаты — разгребаемся: он ко мне, я к нему, пока не сомкнем стежку... Теперь летом кладу дикий шершавый цветок на его могилку, а зимою ладонями с плиты снег разгребаю — крошки хлеба сыплю. Столько птиц изголодавшихся караулят меня и сразу слетаются на могилку!..

Борис Можаяев утверждает: “Акулову, Валентин, все народ додаст, и почета додаст, и славы!..” Не сомневаюсь. Да где он, почет-то, и где она, слава-то? А может, слава — скромная могилка на бедном русском кладбище? А может, слава — молчаливое уважение народа к его книгам, бескомпромиссным и нежным? И, может, слава — редкий полевой цветочек, положенный неизвестным, внезапно уколовшимся о почти солдатскую пирамидку Ивана Акулова под Москвою?.. Может, но обида гложет.

Спи, мой любимый друг. Живому не хватило тебе ласки, а мертвому — покоя: в крови и в слезах русская земля!.. Но я благодарю Бога за то, что он позвал тебя раньше, чем ты увидел проклятый ад, организованный изменниками Родины в последней революционной перестройке. Их имена сгинут. А слово твое воссияет, и муки твои земные светом прольются небесным!..

Обреченность нашей медицины перед грозной болезнью угнетала Акулова, а лечение убежденностью и травами требовало величайшей осторожности и навыка. Как Галина Григорьевна его выхаживала — ей одной известно. А ее не стало — не стало его.

Сегодня русские писатели в экономической блокаде. В десять — пятнадцать раз возросла их смертность. Ленин и Сталин были приличнее: расстреляют — и забудут. Хрущев и Брежнев — гиганты: честных голодом не уничтожали, а лакействующих звездами увешивали. Издавали. Читали... А эти — себя и жен издают и только эссе Коротича о СПИДе читают. Привередливые.

Разве мы, победители, с побежденными так расправлялись, как расправились горбачевцы с нами: в четырнадцати республиках нас растащили, русских, разъединили и колючей пограничной проволокой опоясывают. То ли с фашистами нас перепутали, то ли сами они — геббельсовцы, а нам красно-коричневый ярлык приклеивают. Помесь рынка и работа.

Сегодня защитить русского друга — подвиг. Разве русские никого не защищали? Но не смейте впадать в уныние. Нас гнут к родной земле вместе с родным народом. И когда мы распрямимся — тетива терпения лопнет, стрела возмездья долго петь будет в скифских просторах... Держитесь. Каждый поезд привезет нас — к русскому городу, каждая лесная тропка приведет нас — к русской могилке. Не надо отчаиваться!

В небесах грядет Георгий Третий  
На победном княжеском коне!..

Иван Иванович весьма прохладно смотрел на верующих, но разорение наших русских храмов не переносил: страдал и возмущался извергами. Поддавался знаменам и символам. Подробно рассказал мне историю летчика, упавшего в самолете под Новгородом в озеро во время боя с немецкими “мессершмиттами”. Много лет летчик сохранялся в герметической кабине. А вскрыли — прах рассыпался. Но невеста, старуха, успела угадать парня.

“Русский народ — летчик, идущий на таран, он весь рассыплется, как его страну вскроют, весь!..” — заключал Акулов. А история этой драматической была такова — лучше не слышать.

Иван Иванович грустно делился итогами бессонниц: “Понимаешь, Валентин, террористы и зэки, революционеры, дорвавшись до власти, навоздвигали памятников себе и, породив миллионы, изобретая миллионы преступников, обрекли их, в грядущем, на амнистию, а теперь памятники, воздвигнутые теми, первыми, сносятся, а памятники амнистированным — возносятся: жуткая суть?

Памятники, столько по стране  
Их натыкали на пьедесталах,  
О, колючек меньше на стерне,  
Чешуи на рыбе, мглы в кварталах..

Памятник ввинтился в наши дни.  
Мертвый, бронзовый  
и неумный,—  
Подойди к нему и пальцем ткни,  
Рухнет и расколется, огромный.

Реки высохли, погиб Арал,  
Не найти работы дровосеку.  
Люди требуют мемориал  
Главному герою века — зэку.

Не обида в них, не гневный форс,  
По чумным пескам, буранам вязким  
От Москвы  
и на Магнитогорск  
Зэк прошел и сгинул у Аляски.

Красные знамена Калымы  
Меж сугробами оттрепетали,  
Будем ставить памятники мы  
Тем, кому и жить у нас не дали..

Памятник воздвигнул не народ,  
Потому горбат, как за пургою,  
В шар земной пинающий урод  
Нервную, нетвердую ногою!..

Акулов воспринимал мир в единстве, в неразъемной зависимости: как ночь — и луна, день — и солнце... Рожденный трудиться, творить и праздновать удачу, он скорбно поднимал огромные глаза Христа, натыкаясь на гнусную ложь, на безжалостный обман негодяев. Реформаторов.

\* \* \*

В детстве мне казалось: слишком расту я медленно, потому что видел нищету нашу деревенскую и несправедливый натиск районных начальников на семью нашу — то налог плати, то картошку и молоко сдавай, то шкуру коровью срочно вези, а корова на дворе у нас одна, и шкура на ней одна, — некому оттолкнуть, так оттолкнуть, чтобы налоговый агент носом борозду прочертил, а районный председатель — взвизгнул по-бабьи и прыгнул бы в распахнутую легковушку... Надоели. Жандармы патологические.

Быстро я вырос, а порядка нет и нет.

“Вот под Новгородом рыбаки, — начинал Иван Акулов, — сети в озеро закинули, и не могут вытащить. Суется лодками вокруг, моторчиками дымят, а сети зачоченели. Еще с берега мужики бригаду пополнили. Еще лодки свежие подскочили по воде осенней. А ветер легко серебрит волнами и легко разгоняет их по сизовеющему простору. Сети завязли в глубине, о себе заявившей.

Седые старухи, невесты военной поры, толпятся на высоте, песчаную горушку ветхими пестрыми запонами и платками усеивая, вздыхают: беда, сети на дне озера за чудовище зацепились — дергают их рыбаки, а сети лишь натягиваются и струнно дрожат. Но не лопаются.

И в самой середине седых старух — самая седая бабушка: не стоит, не сидит, не прохаживается, а ладонь о ладонь трет и трет, хотя до снега далеко и холода за горизонтом еще не заворочались. Бабушку никто не приглашал на озеро, да и никого не приглашали. Зачем она волнуется и пальцы перебирает пальцами, в синюю мглу очи уставя?..

— Взяли!..

— А ну, взяли!..

— И... раз... взяли!.. — стараются рыбаки.

Сети затрепетали и по илу, по илу заскользили, заскользили, помогаемые рыбаками, и к берегу, к берегу с уловом страшным устремились, а на отмели прибрежной в сетях капроновых белый истребитель забился и засверкал, не проржавевший, крыльями соколиными, и даже тина, упокойная тина, его не затронула, огнем войны яростно крещенного, и теперь — в рыбацкие сети пойманного...

К трактору на трос прикрючили, рванули, а на суше, вольной и домашней, стекло и кабину вымыли, вытерли и слаженно хором неземно ахнули, побежав нехорошо в стороны разные.

В кабине — летчик за штурвалом. Пилот. Солдат небесный. Защитник русский.

Белочубый. И глаза не закрыты — голубые, русские, огромной тоскою приостановленные, замерли и не мигают. А толпа старух, седых и всклокоченных, напирает и напирает на кабину, сдержать невозможно. Сколько из-под облаков попадало в годы войны их сыновей, их братьев, мужей, отцов их? Как вытерпели старухи русские это?

И вдруг бабушка седая, седее седых, пальцы теревить прекратила, да как закричит с берега, с холмика песчаного:

— Мой, мой Саша!.. Саша мой, Саша!.. Уйдите, отойдите, дайте мне к нему пробиться!..

Мой, мой Саша!..

Старухи расступились. Креститься принялись... Поворачиваются туда и сюда, туда и

сюда, а белая бабушка, покачиваясь с плеча сутулого на плечо сутулое, бредет, сандалиями стежку пошоркивая, кривые руки вытянула, на кабину нацеливаясь: — Сашенька, Саша, милый ты мой, где же ты от меня скрывался? Я ведь и замуж без тебя не вышла, я ведь и детей без тебя родить не решилась!..

Жертвенность и покорность.

И на колени опустилась бабушка. И вздрогнул истребитель, боевой и серебристый. И летчик, жених бабушкин, зашевелился, зашевелился в кабине, за стеклом бронированным, а узнать невесту свою, подружку хуторскую новгородскую, не в состоянии: кровавая тина зрачки ему отяжелела, а победное время далеко, далеко в глубину его отодвинуло, и память молодого сокола, защитника русского, притупилась, не слыша на дне ни рыданий матери, давно умершей, ни окликов невесты, сейчас на коленях растерянно закаменевшей, и только голос ее узнает храбрый летчик, ее голос, зовущий и беспощадный:

— Саша, Саша, Саша!..

Но дзенькнула, но хрустнула источенная слезами и тьмою кабина, и вспыхнул как бы куст сирени огненной, и растворился, мигом исчезнув, пилот смелый, Саша, жених русский, пятьдесят лет ожидаемый красивою девушкой русской, бабушкой седою и грузною... Исчез”.

Иван Иванович замолкал.

Воздух и камень. Вода и небо. Снег и ветер. Земля и время. Годы и люди. А что вечно? А кто вечен? Вечна верность, любовь и верность. Вечны отвага и правда. Вечна Россия, и подвиг сынов ее вечен, как подвиг ее вдов, невест и жен русских, и у смертного порога все еще ожидающих не вернувшихся любимых с войны: как измерить и рассказать про такое сверхбиблейское страдание и боль? Не измерить и не рассказать.

Я вырос. А порядку на земле русской нет. Пока я рос и торопился умным сделаться, — деревня моя осиротела на Урале и канула под вихрями запустений, а возле древнего Новгорода юная невеста хотела дошагнуть, добежать до жениха Саши, потерянного в сражениях, да озеро колыхнулось, и мертвый летчик внезапно прахом ссыпался перед ее скорбными очами. Где же мы, русские, сегодня?..

Ах, как мне хотелось преобразиться и Россию нашу преобразить! Вот ехал бы я по Уралу: поскрипывают колеса автомобиля, а направо — дома, дома каменные с палисадниками, шумящею березою и кленом, черемухой и ольхою, а налево — дома, дома каменные, наличники алмазными ножами вырезанные, и палисадники — июлем веют, пчелы по цветущим купам жужжат и золотистыми мохнатинками на солнышке бронзовом вьются, медовыми колокольчиками в полях исцелованные. Но мою фантазию остепенял Акулов.

И на кладбище, где деды и прадеды мои лежат, гранит уральский незыблемо тишину бережет, а мрамор уральский лики ушедших родичей моих держит, дабы вместе с живыми, нами, образы их в необъятных дремах русской земли витали и переговаривались между собою. Память и красота, разум и труд мосты перекидывают от поколения к поколению, от действующих к мертвым, от уныния к радости, от поражения к успеху. И музыки мне хотелось, музыки над каждым русским домом — сильной и доброй, а над каждой могилой — врачующей и печальной. И красная рябина пусть горит над их незабытыми крестами.

И города наши русские какими должны быть? Вышел на центральную площадь — и весь город на ладони твоей, лишь проспекты с нее, с площади, с ладони твоей, летят и

сверка-юг, прямые и гулкие, в четыре стороны России, летом зеленые, осенью золотые, а зимой — серебристым огнем заметенные, рождественские...

И вся Россия быть должна, быть должна давно и давно сверкающей, зовущей, зелено-цветущей, на четыре стороны русского мира своей, открытой и надежной. Да как не так?.. Холупы допетровской эпохи по деревьям русским ветшают, доканывают себя и нас. А города ядовитым туманом напитались и лохматую гарь разбрасывают по окомам собственным, журавли над ними пролетать не могут, робеют: падают в клубящуюся бездну в дороге поднебесной, как в атаке таранной Саша упал.

А новые русские явились — монголы настоящие: кочевья и шатры их нагло по Родине нашей пущены, проку нам от них и от самих новых русских нет: мы, русские, в плен хапнуты ими, деньгами их, благом их и рэкетом их. Изящных невест они на Запад угоняют конкурсами и фестивалями. Табунят их и угоняют для богатых ритуалов, сцен, праздников и постелей, а женихов купленных рабынь русских — в Чечню и в Таджикистан, в Грузию и в Молдавию отправляют, формируя из парней батальоны и полки, а оттуда посылают в Россию истерзанных калек и гробы, калек и гробы.

Почему же девушки наши, невесты русские, такие обаятельные, согласны с новыми русскими, убийцами достоинства русского, почему? И почему парни русские терпят, вооруженные, новых русских, палачей молодости и счастья России, почему?

Почему Россия вечно — страна вдов? Почему Россия вечно — страна похорон сыновей наивных? И кому мешаем мы, русские? А не мешаем, значит, зачем нам они мешают, конвоиры и рас-стреливатели Родины нашей, зачем? И долге ли еще мы, древние русские, не отряхнем с себя их, новых русских?

Интересное совпадение: последний роман Ивана Акулова “Ошибись, милая” — о террористах. Он предсказывал распад КПСС, предсказывал полный распад СССР. Предсказывал огульное облыжничество, злобу и позор, коими покрыла нас демократическая сионистская пресса, нас, людей русских, и вообще — русского человека, даже облик, привычки, вид, историю, музыку, быт наш, Господи, даже — щи, творог, шанежки, испеченные русскими женщинами, — вздор и некусь, упоенно утверждает, распространяя поганые слухи о нас в народах, соседних с нами, печать антирусская. Завербованная.

Троцкого Иван Акулов считал засланным негодяем, призванным искоренять нас. Свердлова считал кровавым казнителем русского народа. Ленина считал полурусским мерзавцем, предавшим Россию за посулы и обещания держать его у кормила в разрушенной стране, сбережь уже не трон, а трончик, дабы испепелить совесть и душу русского народа, подпавшего под ярмо Сиона и Запада.

Сталина называл издевательски — безграмотным, тупым, жестоким и коварным грузином, не знающим и не чувствующим России, но иногда ни с того ни с сего у Ивана Ивановича прорезались послабление к Сталину и почти солидарность с вождем народов СССР и всего прогрессивного человечества. Это — Иван Иванович Акулов перечислял убранных Сталиным ленинцев поименно:

“Троцкий, Якир, Уборевич, Ягода, Блюхер, Тухачевский, Бухарин, Каменев, Зиновьев, да все, все кауфманы и цедербаумы, штейкманы и засуличи, раковские и фельдманы, всех, всех. Валя, хитрый, да, да, и умный, политически развитый грузин. Валя, упразднил и на Колыму командировал гвардию Ленина, маненького хромого Ильича, всех упек, Валя, всех! И за такие благие мероприятия не уважать товарища Сталина, Валентин, грех великий!” — иронизировал грустно Акулов.

Терроризм не является чертою русского народа, и Акулов отлично доказал в романе “Ошибись, милая”, что терроризм нам “рекомендован”.

Группы недовольных царским правлением и порядками когорты большевиков неустанно находились под строжайшим контролем нерусских программистов, внедрившихся в среду недовольных в ранге теоретиков и вождей, учителей пролетарских масс, а на самом деле — еврейских националистов, пробирающихся, ползающих, бегущих, шагающих и прыгающих, если необходимость возникла, в тартарары, но во имя — отобрать власть у царя, у народа, у России, и творить на просторе гнусное иудино паскудство, кровавую месть тем, под чьей крышей они выкормились, революционные клопы.

Перед Толстым и Лесковым, Буниным и Шишковым благоговел до конца дней своих. Цитировал Пушкина наизусть — из “Бориса Годунова”, Некрасова читал кусками, не опираясь на текст, читал, как собственные страницы, Клюева ценил высоко, а моей преданности Есенину завидовал и недоумевал: неужели я обожаю Есенина больше, чем он обожает Клюева?

Очень волновался, выбирая зарисовки природы, моменты страстных откровений в произведениях Бунина, Гоголя, декламируя, пытался воспроизвести их сценически. Ивана Ивановича увлекало вещественное: вдруг кепку набочок, руки в карман жилета, вторую к козырьку, ширинку навывкат и подражать фотографии, портрету знаменитому Ильича:

“Правильной дорогой идете, товарищи!”

И старался подольше, подольше задержаться по артикулу “смирно”, сужая глазки и светясь революционной бдительностью к пролетарским воротам заводов... Помните? Пародировал Хрущева: похмельно икал и не выговаривал, коверкал известные слова и фразы: “Коммунизм и ленинизм, сионизм и капитализм, Эзинхауир и каркалпаки”... Исключительно удачно пародировал Брежнева: “А мы приглашали, мы приглашали Мао Цзедуна в мавзолей к Ленину, положить их рядом собирались, Центральный Комитет КПСС приглашал, а он дискустирует, дискустирует, кто-то из врагов СССР настроил его против КПСС, и он не желает ложиться рядом с Владимиром Ильичем Лениным в Москве на Красной площади!”

Отвергал Маяковского. Мое хорошее отношение к таланту Маяковского его раздражало.

Отвергал Маяковского Иван Иванович громко, как громко перевозносил Бунина.

Иван Иванович Акулов не застал, к счастью, превращение Ельцина в классического демагога, а из классического демагога — в банального палача. Легко ли их застать: сегодня они — с портретом Ленина, завтра — Сталина, послезавтра — Хрущева, Брежнева, Андропова, а с Горбачевым Ельцин случайно не поладил, случайно.

Любимец и орел,  
Политик, мудрый видом,  
Зачем ты приобрел  
Коротича со СПИДом?

Уж очень ты ретив  
Сочувствовать изъяну,  
Сдай в кооператив  
Больную обезьяну.

Ведь этот лысый фуй  
Заразою сочится,  
Как счастье ни рифмуй —  
Беда с тобой случится.

Станкевич — кто такой,  
Явлинский — их не тронешь,  
С протянутой рукой  
Ты нас по миру гонишь.

Вот Адамович, глядь —  
С ним Сахаров...  
Контрасты?  
Да, Евтушенко б...,  
А эти — педерасты.

Сдается мне порой,  
Тебя моча хватила:  
Ты был у нас герой,  
Теперь — большой мудила.

Ельцин сразу оперся на агрессивную нерусь. И в народ, в народ с нею, страдать, жаловаться, канючить и хитрить, метя на трон. Да, народ то пригребают — не этого, то отталкивают — не того, а дни, годы текут, текут и реют не только мимо нас, живых, но и мимо немых обелисков. Устелили трассу до Берлина братскими могилами, и в центре Берлина обелиск соорудили, а вчера трусливо кинули его, предали.

\* \* \*

Пить Ивану Ивановичу нельзя было. Мальчишкой-добровольцем попав на фронт, он получал перед каждой атакой боевые сто грамм водки, а жив остался после атаки — опять боевые сто грамм водки. И организм его за годы войны, в пехоте, перестал реагировать, сопротивляться. Такие вещи, кстати, я наблюдал у многих, кто протопал в дыму и в крови до Берлина, зарывая в пути друзей по братским коллективным могилам. Сто грамм его могли вывести на несколько дней — ужасных и опасных, если отдать Ивана Ивановича одиночеству и тоске. Но, поборов депрессивный накат, Акулов долго, месяцы и месяцы, не подносил к губам рюмки. И легко я заявляю: жизнь Ивана Ивановича Акулова — очень трезвая и прямая жизнь, размыслительная, сокровенно прикасающаяся к самым глухим закоулкам русского мира. Я даже уверен: если бы Акулов жил обыкновенной, нормальной писательской жизнью, он менее был бы остер, менее восприимчив к яви, менее беспощаден к государственным и правительственным порокам.

Приходится мне уделять внимание резкой трезвости Акулова потому, что окололитературный жлоб, графоман, долбящий неотрывно двадцать четыре часа в сутки бумагу носом, Дроздов, сожалеет в своих маниакальных “мемуарах”: мол, Ивану Акулову меньше надо было пить, тогда и с творчеством его было бы значительно

авторитетнее, а то — вялость сюжетов, бледность языка... И т. д. ...Вампир, сосущий чужое дарование.

Дроздов никогда никого толком не читал. Из всех моих знакомых, повторяю, из всех, Дроздов более всех, даже рядовых читателей моих, безграмотный. Озлобленный собственной литнемошью. Доведенный до бешенства неприязненными взглядами на него писателей. Отодвинутый нами и нашими приятелями не раз в сторону, а ныне отшвырнутый и заросший, как чащобный пенёк мхом и чертополохом, равнодушием нашим к нему.

Дроздов тренировал свою супругу жить на один рубль в день. Такое он вытворял в семидесятые годы, когда булочка сдобная стоила три копейки, а он — номенклатурный журналист... Вегетарианец. Призывал нас поститься. Церкви обходил за версту. Помню, я склонился в Лавре над саркофагом Сергия Радонежского, а Дроздов из толпы орет: “Товарищ Сорокин, вы же главный редактор, как вы отчитаетесь перед ЦК КПСС и Политбюро?”

Как-то в сентябре, ко дню рождения Ивана Ивановича Акулова Галина Григорьевна нажарила огромную деревянную чашу котлет. Дроздов с внуком восьмилетним забрел на обед. Подняли рюмки. Еще подняли. А за столом Шевцов Иван Михайлович, я, Акулов, Сергей Суша, Николай Сергованцев. Беседа — шум поэтический и новости, взбодренные серийными анекдотами.

Дроздов, плотно наевшись, встрял, прерывая нас: “Галина Григорьевна, вы такая мастерица, я штук десять, пожалуй, съел ваших редкостных котлет!...” А внук Дроздова замечает: “Дед, я считал — ты съел не десять, а шашанадцать!” Мы хохотали искренне вместе с Дроздовым и его внуком, но Дроздов хохотал, конечно, гомерически и благодарно. Раскованность архипосредственности.

Первая жена Дроздова, Надежда, видела негабаритность мозгов мужа — нервничала и жаловалась. Вскоре умерла. Вторая жена Дроздова — бывшая жена борца с алкоголизмом в России. Не имея ничего даровитого от рождения и далее, Дроздов припрягся к идее мужа второй жены и сегодня строчит “постулаты” против пьянства. А поскольку его никто, кроме нас, дачных соседей, никуда не приглашал, вот он и решил обрушить свои крупные познания “хмельной стихии” на нас, шабров, если позволительно так мягко говорить о нем. Сексот-доброволец.

Господи, пусть вторая жена Дроздова живет и живет: ведь случись беда с ней, а Дроздов, скажем, женится на вдове ветеринара! — как сложно ему будет осваивать новую профессию и новые методы коновала? Да, не иметь ничего своего — обречь себя на попугайничанье за другими: они запели — ты запел. Они залаяли — ты залаял... Мордастый вещун.

Иван Иванович Акулов грустно процеживал таких “боянов” насквозь и неподдельно огорчался: “Валя, Валя, запомни, умных людей убывает и убывает. А дроздовых прибывает и прибывает. Назначь его директором ПТУ — готов. Назначь следователем — готов. Назначь на партийную газету — готов. Назначь в члены Политбюро — давно ждет”.

К летчику, упавшему в озеро под Новгородом, к старухе белой, невесте, угадавшей любимого, на миг к ним, встретившимся, Иван Иванович часто возвращался: — Ну, саркофаг Ивана Грозного мы, хамы, разрушили? Ну саркофаг Петра I мы, хамы, тоже разрушили? Крышку подняли — как живой Император. И сразу — прах, пыль бременная. Не преступи заповедей жизни. И летчик, Саша, жених бабушки белой, чуть



докоснулись — в прах. То — народ русский, измученный, народ, убитый в подвалах, тюрьмах, войнах, абортах и прочих кознях, народ, Валя, народ!

— Народ бессмертен, а беды и катастрофы преходящи!

— Русские катастрофы. Валя, непреходящи! Спланированы и осуществлены.

— Ну, Иван, ну, Иван Иванович, кто русским пьянку спланировал, кто? Сами столетиями хлещем, да нахлестаться не можем?!

— Эх, Валя, когда-то русские числились на последнем месте в графе, отмечающей количество спирта, порасходованного Европой, да. Но аресты, но расстрелы, но войны и войны, а советская власть — ни шагу без войны: “За Ленина — вперед!”, “За Сталина — вперед!”, “За партию — вперед!” Вранье и вранье. Подлецы. До Ленина?.. До Сталина?.. До партии?.. Кому нужны мы с ними? Гои. Рабы, сионизированные рабы!..

Акулов не сковывал себя умолчаниями и у высокого начальства. Помню, Прокушев, он и я в декабре 1985 года при содействии Геннадия Михайловича Гусева, помощника члена Политбюро ЦК КПСС и Председателя Совета Министров РСФСР Воротникова, встретились с шефом. Виталий Иванович Воротников неспешно информирует нас о трудностях минимальных и о заботах глобальных, а Иван Акулов ему:

— Хлеба в Подмосковье нет, хлеба! А привезут — кирпичный, не ужуешь. А в деревнях — старухи, вдовы нищие, и хлеба им нет, хлеба нет, а ракеты с космонавтами чуть ли не из Кремля запускаем!..

Воротников вспыхнул и прижал Акулова конкретикой обстоятельства:

— Где нет хлеба, скажи? Я лично проверяю ежедневно, с утра положение в России, на селе ее. Где же нет хлеба? Не завозят, где?..

— А поехали, покажу где, поехали! Россию проверкою и криком не окультурить, а сражениями в Афганистане и гробами с русскими ребятишками оттуда в России коммунизма не соорудить!..

Воротников побагровел и тихо, тихо нам:

— Порою и мне кажется, — вверх тормашками закувыркается государство под откос, закувыркается, мужики!..

Попроцались молча. А за Домом Советов Иван Иванович сожалеет:

— Зря напал я на него, человек русский, болеющий за Россию, да помочь народу он уже не поможет, раб, как рабы мы с вами, опоздали они и мы, опоздали!..

Иван Иванович наслаждался порядком и чистотою. Выскоблит крыльцо на морозе, веранду. В комнате вымоет. Свежая рубашка. Овчинный безрукавный кожушок — для сугрева. Причесанный и выбритый. Над белыми страницами творит. Сосредоточенный Пимен...

— Глянь, разве Галина так настроит атмосферу?

— Без Галины ты и зубным порошком разучишься пользоваться, один раз вымыл — герой, а бабе каждый день убирать?

— Молчи, адвокат!

И в солнечное зимнее утро Иван Иванович усердно отгреб деревянной лопатой снег, расчистил, обтоптал и метлою обласкал дорожку, от улицы до калитки, от калитки до крылечка. Одухотворенный. Полуоборотом ко мне расстегнулся и стройно, небольшой памятник, бронзовеет на крылечке — и поливает на пушистый снежок шипучею струею:

— Благодать, Валя!..

А жена старосты кооператива, шуршащая пегими длинными полами пальто, мосластая и очкастая, из-за угла и на крылечко:

— Ничего, Ваня, ничего, бывает, бывает, не конфузья!.. Иван Иванович сиганул от нее, а старостиха от Ивана Ивановича сиганула. Я же, продолжая стоять на дорожке, хватался за живот:

— Будешь бегать в уборную в следующий раз!..

— Не бабка, а снежный человек... Караулит, лишь приспособлюсь, она обязательно захватит в разгаре процесса, идиотка пещерная!..

Бабка забывала пикантный миг и повторяла свои ранние набеги на Ивана Ивановича, смущая его и вышибая из колеи.

По трепещущему листу осины Акулов свободно предсказывал дождь, по тревожному посверкиванию зимних облаков — буран, цветы, травы, колосающиеся хлеба Иван Иванович глубоко вдыхал, задерживал в груди и, едва не плача, клялся: “Дали бы мне, клянусь, молодому, клянусь, я вспахал, засеял и обмолотил бы один вот это огромное колхозное поле, один, Валя, один!..”

К земле он прикинул иконно. Земля — его храм и молитва, земля — тоска его и песня. И вот такой мощный писатель, такой гениальный человек русский, патриот настоящий, педагог и философ, ни разу не был допущен на телеэкран мафией отечественных и зарубежных оккупантов русского народа. Ни разу. Зато академик Сахаров не сползал с экрана, елозя перед гражданами СССР до обморока у них и у него: то — Сахаров у Генсека ЦК КПСС, то — Сахаров у римского папы, то — Сахаров у микрофона в Георгиевском зале Дворца съездов, очаровывает нас, неразумных гоев и депутатов... А теперь без Сахарова и Елена Боннэр — фигура?

Предательство руководителей страны и предательство лидеров КПСС, помноженное на предательство диссидентствующих кликуш типа Коротича или на предательство разбуревестников типа Гангнуса, утомляло Ивана Акулова и раздражало его, как раздражает гвоздь в ботинке или в сапоге. Но коротичи и ентушенки — не гвозди, да и Сахаровы с ростроповичами — не гвозди, а взрывные устройства, подложенные под СССР. Чеченские боевики — несмышлениши перед ними!.. Интеллектуалы. Патриоты. Не умиляясь властью советской, Акулов понимал: разрушители советской власти страшнее власти — дети и внуки картавых ленинцев, тыкавших стволами револьверов чуть ли не в каждую русскую грудь и русскую душу. Палачи, командированные грабить людей: пахарей и кузнецов, агрономов и конструкторов. Прорабы Дзержинского и Менжинского, Ягоды и Ежова, Берии и Кагановича, Хрущева и Брежнева, Горбачева и Яковлева, Шеварднадзе и Ельцина, Гайдара и Бурбулиса, Шумейко и Чубайса... Акулов умел понимать дерзость поэта и правоту поэта. Умел защищать независимость писателя и не пятился от наката невзгод.

Надеялись овечки, что баран  
Их проведет сквозь гибельный туман  
К реке,  
где по воде бьет мельничная лопасть,  
Но отвильнул баран,  
А овцы — в пропасть, в пропасть...

На скалах шерсть и на деревьях шерсть,  
О, сколько было их — не пять, не шесть,  
Колхозные и личные стада,

Да вот беда:

Дурные, потянулись за бараном  
Цепочкою, гуськом и караваном,  
Баран вильнул у камня — не впервой,  
А те — вниз головой,  
Вниз головой,  
Не долетев, отбросили копыта,  
И на шашлык сгодились, жертвы быта!

Итог:

Держа барана крепко за рога,  
Потри мурло ему, заметишь лик врага,  
Определи Идейное нутро,  
Вдруг сей баран есть бывший член Политбюро?..

Ни мы, ни народ никогда не питали алмазной веры в членов Политбюро, а скорее — подталкивали их настойчивыми просьбами и предложениями совершить полезный шаг в обществе, да, подталкивали, но и подтолкни Яковлева, подтолкни Горбачева: мерзавцы!.. Усилия наши деликатны, а надежды наши беспочвенны.

\* \* \*

Члену Политбюро ЦК КПСС,  
секретарю ЦК КПСС товарищу Лигачеву Е. К.

Уважаемый Егор Кузьмич!

Считаем партийным, гражданским долгом откровенно высказать Центральному Комитету партии, его Политбюро свою большую тревогу в связи с неблагоприятным положением дел в духовной сфере советского общества. Эту тревогу разделяют многие русские писатели, о чем свидетельствуют и недавнее расширенное выездное заседание Секретариата СП РСФСР в Рязани, и прошедшее в ноябре отчетно-выборное партийное собрание Московской писательской организации, и другие писательские собрания и обсуждения.

Все мы глубоко обеспокоены тем обстоятельством, что под флагом гласности и социалистического плюрализма мнений выдвинулись люди, явно зараженные вирусом демагогии, амбициозными, а то и просто экстремистскими устремлениями. Они испытывают плохо скрываемую неприязнь к национальным традициям, особенно русской национальной культуре. Заняв руководящее положение в целом ряде редакций телевидения, радио, художественных журналов, газет, особенно комсомольских, эти люди ведут атаку на духовные и культурные ценности социализма и объективно, чем дальше, тем больше, становятся тормозом перестройки.

Демагогически прикрываясь рассуждениями о гласности и демократии, они в целом ряде случаев уже позволяют себе ставить под сомнение не только нашу историю, наши идеалы, но и важнейшие государственные союзные решения и постановления. Именно об этом наглядно свидетельствуют последние события в Эстонской ССР и некоторых

других регионах страны, которые тревожат и огорчают каждого честного гражданина нашей Родины, воспитанного в духе интернационального братства и непоколебимого единства нашего многонационального государства.

Вместо показа животворной, созидательной роли в перестройке рабочего класса, его авангарда — КПСС ныне деятели средств массовой информации демагогически пустозвонят вокруг отдельных имен и событий, выдвигают своих “героев” и своих “гениев”, прямо-таки провоцируют в массах, особенно среди молодежи, недоверие и неприязнь к честным партийным и государственным кадрам. Особо изощренным нападкам, “обличениям”, травле подвергаются народные писатели Юрий Бондарев, Валентин Распутин, Василий Белов, Анатолий Иванов, Петр Про-скурин, Егор Исаев и многие другие. Их всячески пытаются скомпрометировать в глазах общественного мнения. Цель этой кампании ясна — “выбить” преданных делу партии людей с общественных литературных постов, упразднить тем самым авторитет личности и таланта в руководстве СП СССР и РСФСР.

В литературный процесс нагнетаются сумятица и раскол. Сугубо тенденциозно внимание читателей, зрителей, слушателей почти целиком сосредотачивается лишь на отдельных именах честных (а теперь уже и не только честных, но и открыто антисоветских) писателей-эмигрантов, жертв репрессий, а то и просто — банальных, бездарных диссидентов. Все более открыто, нагло пропагандируется “массовая культура”. Юные дарования, юные души растлеваются заразой безнадежности. Одновременно удушьем замалчивания заволакивается творчество авторов-патриотов. Больно и страшно видеть, как шельмуется национальное достоинство, наша общая интернациональная ответственность за судьбы страны, как осмеиваются солдат и офицер, оскорбляются верность и подвиг. Люди, для которых нет ничего святого, договариваются до того, что называют народом-сталинистом — русский народ... В свою очередь книги, утверждающие социалистические идеалы, либо “не замечаются”, либо разносятся в пух и прах, причем безапелляционно, бездоказательно. Зато “зеленая улица” широко открыта теперь таким произведениям, где вся наша жизнь, вся наша история — и героическая, и трагическая, и радостная, и печальная — одна сплошная черная дыра.

Некоторые из таких экстремистов-“перестроечников” пытаются публично развенчивать наших классиков — Горького, Маяковского, Шолохова, Есенина, Леонова. Достается и К. Симонову, и А. Фадееву, и Н. Тихонову, и даже И. Эренбургу. А недавно “Юность” (№ 11) объявила всю советскую культуру, за вычетом лишь Б. Пастернака, М. Булгакова, О. Мандельштама и некоторых других, не более чем “врио-культурой”, “врио-искусством”, временно выполняющим функции духовного творчества в стране...

Полагаем, что пришло время решительно пресечь вулканическое словоблудие, за которым нередко явно ощущается очевидная групповщина и просионистские устремления. В ряде случаев все это обретает форму своеобразной доносной эпидемии, невольно заставляющей вспоминать печальной памяти тридцать седьмой год. Мы имеем в виду прежде всего такие массовые издания, как “Огонек”, “Московские новости”, “Книжное обозрение”, “Советская культура” и некоторые другие. Об этом неоднократно говорилось на многих писательских собраниях различных уровней, как в центре, так и на местах.

Мы убеждены: социалистический плюрализм мнений вовсе не означает отделение тех или иных печатных органов от партии и государства, не означает свободы охаивания

социализма самозванными “знаменосцами” перестройки.

Необходимо более решительно потребовать от руководителей, как выше упомянутых, так и любых других средств массовой информации, подлинной гражданской и партийной ответственности за порученное им дело, соблюдение элементарных демократических норм, в том числе и такой, когда человек, подвергшийся критике, мог бы ответить на нее печатно, как это определено в решениях XX партийной конференции. Пора отказать любому печатному органу в праве вести “игру в одни ворота”.

На последних писательских пленумах, других литературных форумах и собраниях не однажды справедливо ставились вопросы о создании новых органов печати, в том числе в РСФСР — массового еженедельного журнала, ежемесячного художественного журнала для писателей Нечерноземья, журнала для писателей российских автономных республик, а также теле- и радиоканала “Говорит и показывает “Советская Россия”. Не терпит дальнейшего отлагательства создание издательства “Московский писатель”.

Вопрос этот обсуждается в различных инстанциях по меньшей мере лет пятнадцать. Надо его решать. Такое издательство, нацеленное на выпуск книг-новинок, позволит значительно полнее, целенаправленнее использовать творческий, идеологический потенциал двухтысячного отряда московских писателей. Это ведь одна пятая всего писательского Союза. Необходим московским писателям и столичный художественный журнал, а писателям российских областей — свои альманахи и издательства.

И еще об одном. Представляется, что, помимо встреч с руководителями средств массовой информации, было бы желательно проводить в ЦК партии беседы и встречи с группами известных советских писателей, в том числе не занимающих официальных литературных и иных постов. Полагаем, что в этом случае Центральный Комитет имел бы еще один дополнительный и, думается, весьма объективный и содержательный источник информации. Многие “нешумные”, “нетрибунные”, но болеющие всей душой за перестройку писатели ждут, надеются в будущем на такие встречи. Хорошо, например, если бы в ближайшее время состоялась подобная встреча с группой писателей России (\* Лигачев не встретился с нами.).

Беспокоит и то обстоятельство, что зачастую трибунные бездельники и демагоги ныне ходят в героях дня, в подборе руководящих творческих кадров в ряде случаев повторяется известная в свое время “дерзость” атакующей групповщины, семейственной клановости и высокомерной кривобокости.

В заключение отметим, что многие из затронутых выше проблем и вопросов ставились ранее нами и другими писателями в общественных и государственных организациях, включая ЦК партии. Отношение к ним всегда было сочувственное. Отдельные вопросы разрешались. Вместе с тем ряд других, как нам представляется, сугубо принципиальных вопросов, касающихся не только жизни писательских организаций, а имеющих более широкий идеологический аспект, требуют сегодня конкретного партийного решения. Нам представляется, что недооценка ситуации может привести к нежелательным, более того — непредсказуемым последствиям. Именно чувством тревоги и партийной озабоченности продиктовано это наше обращение в ЦК партии. Продиктовано оно и верой в то, что, вопреки всем силам торможения, победит великое дело перестройки и обновления нашей могучей социалистической Родины.

С глубоким уважением

члены КПСС, лауреаты Государственной  
премии РСФСР имени А. М. Горького, писатели:  
Иван Акулов  
Юрий Прокушев  
Валентин Сорокин  
5 декабря 1988 г.

Акулов, Прокушев, я — разные, но Ивану Ивановичу казалось, нельзя не обратить  
серьезного внимания на нашу государственную тревогу. А кто обратит — завербованные  
ЦРУ?.. Ненавистники России — управители России.

Помоги мне, Господи, силою и духом о России поговорить, плача, о Палестине сказать,  
рыдая!.. Даже школьники с гранатой, даже подростки с автоматом шли, наступая на  
смерть, отважно презирая смерть, шли защищать землю отчую, древние священные  
камни могил и храмов.

Много палестинцев — православных. И храмы их, православные, испакощены, как наши,  
русские храмы, надписями погаными: “Фуй!..”, “Кизда!..”, “Евёна мать!..”, “В рот!..”, “В  
нос!..”.

Почерк знакомый — революционный: это — предатели, это сионистствующие негодяи,  
кинув Россию, оккупируют душу Палестины, они, они. Интересуется Иван Иванович  
Акулов:

— Чего в Палестине нашел?..

— Россию!.. Россию!..

Там, где иуды прошли, — свинец.

Там, где иуды прошли, — конец.

Где отпечатался их каблук—

Щупальцы вскинул стальной паук:

Голод несет он и холод несет,

Песню сосет и улыбку сосет,

Ест серебро он и золото ест,

Жемчуг ссыпать ему не надоест

И бриллианты в карманы ссыпать:

Некогда мямлить нам, некогда спать,

Некогда тешить посулом народ, —

Вполз в наше сердце кровавый урод!..

— Станный ты, Валя, — нервничал Акулов.

— В чем же странность моя?

— Неужели масонско-сионистская зараза неодолима?

— Одолима, если мы организуемся.

— А вот мы, Валя, организуемся, как? Мы с тобой в Москве, а у нас на Урале сидит в  
будке собачьей жид и в носу ковыряет: будильник ремонтирует, время чинит, как мы  
образуемся?..

\* \* \*

Закрепляя солидарность с Прокушевым и со мною в тревоге о государстве, Иван Иванович, исследователь, зачитывал скрытно диковинный документ:

“1. За весь 1918 год только в 20 губерниях Центральной России вспыхнуло 245 крупных антисоветских мятежей.

2. В 1919 году в Поволжье разгорелась крестьянская война, отхватившая 180 тысяч тружеников.

3. В апреле — июле 1919 года в Орловской, Курской, Воронежской губерниях крестьяне восставали 328 раз. В Тверской, Ярославской, Костромской губерниях против большевиков поднялись 35 тысяч крестьян.

4. А кронштадтский мятеж?.. Не мятеж, а восстание!.. И давили, бомбили, взрывали, травили, расстреливали, вешали отчаявшихся русских людей, кто? Ленин приказал Тухачевскому газами уничтожить хлеборобов. Ленин приказал бросить против моряков Кронштадта 45 тысяч солдат, 159 тяжелых орудий, 443 пулемета.

5. Ленин, Троцкий, Свердлов, Дзержинский, Зиновьев, Каменев, Красин, Адамович, Уборевич, Пугна, Примаков, Сольц, Раковский, Ольский, Бубнов, Крыленко, Антонов-Овсеенко, Ворошилов, Дыбенко, Тухачевский являются палачами, садистами, убийцами русского народа. Грабители, они опустошили банки России, музеи России, храмы России, они — евреи и русские гои Молотов, Калинин, Рыков, Бухарин, готовы были по шевелению пальца Ильича погубить всю Россию: погубили же в Крыму евреи, выполняя приказ Ленина и Троцкого, 300 тысяч русских. Митрополитов живьем в землю закапывали, мощи Сергия Радонежского изглумили бешеные иудей, наглотавшись теплой православной крови!”

— Ленин, Валя, еврей, колоссальный жид, Валя, вымокший до мизинца, до ушей в святых слезах русских и в святой крови русской, а ты, Валя, стихи ему сочинял, гой!..

— Не гой, а член КПСС!..

— И я член КПСС, дурак я старый!..

— А письмо-то мы отправили Горбачеву робкое, Ваня, робкое!..

— Тьфу, а не письмо!.. Им, Валя, кулак надо в рыло, а не письмо!..

Упорядоченные факты того документа я прочитал позже у Олега Платонова, и повторяю, повторяю, повторяю их, и ты, мой читатель, повторяй, повторяй, повторяй. А кто снабжал “тайнами” Акулова, я и сегодня не знаю. Иногда, выпив рюмку-другую, Иван Иванович волновался и зачитывал, зачитывал:

“Ильич на мировую революцию швырял русский народ и его территории, насыпал полные карманы драгоценностей, не своих, а царских, евреям-ювелирникам, значит, мошенникам, подпольщикам-большевикам...

Ценности, отпущенные Третьему интернационалу, — брошь-кулон (5000 рублей, 12 бриллиантов 8,5 карат (21 600 руб.), кулон бриллиантовый (3500 руб.), запонка жемчужная (4000 руб.), бриллиантовая запонка с сапфиром (45 000 руб.), платиновый браслет с бриллиантом (4500 руб.), кольцо бриллиантовое с рубином (2000 руб.), брелок с бриллиантом и сапфиром (4500 руб.), 1 бриллиант 2,3 карата (7500 руб.), 27 бриллиантов 13,30 карат (32 000 руб.), 2 бриллианта 3,30 карат (19 000 руб.), 14 бриллиантов 8,5 карат (17 000 руб.), 11 бриллиантов 16,40 карат (56 000 руб.), 2 серьги жемчужные (14 000 руб.), кулон с жемчужными подвесками с бриллиантами (12 000 руб.), 5 бриллиантов 5,08 карат (22 500 руб.), кольцо бриллиантовое (21 000 руб.)...”

Еще выпив рюмку-другую, Акулов распахивал ворот рубашки: “Бежали из России миллионы русских и миллионы русских людей. Ленин и его евреи отстегивали, нарезая

новые границы: Польша — 5,2 млн. человек русских, Румыния — 742 тыс. русских, Чехословакия — 550 тыс. русских, Латвия — 231 тыс. русских, Литва — 55 тыс. русских, Эстония — 91 тыс. русских, Финляндия — 15 тыс. русских...”

Сегодня подобными страшными документами заполнены некоторые газеты и журналы. Дать им, документам, широкое движение — наша обязанность. Сколько миллионов русских людей разбазарили и раздали по СНГ масонствующие прорабы перестройки? Бог, наверное, оценил чистую совесть и верность Ивана Ивановича Акулова: взял его, дабы он не видел нынешней катастрофы русского народа. Только в гаремы и в дома терпимости Востока и Запада угнано куплей и обманом свыше 500 тысяч русских девушек, которые должны были родить России пахарей и воинов, поэтов и ученых: да, должны были, должны были...

Сионистское иго не краше и не легче монгольского ига. И кремлевский обрюзгший Чингисхан не добрее того — шатерного Чингисхана.

Русская Православная Церковь хранит имена убитых архиереев с 1918 года. Мертвому Серафиму Саровскому не дали покоя, а живых казнили иуды продажные и зараженные сифилисом дьявольской ненависти к судьбе русской, оснеженной белыми вершинами гор и белыми лебедиными облаками. Россия — и белые вершины. Россия — и белые облака. Россия — и белые, белые кресты в пространствах белых!..

Епископ Орловский — Макарий. Митрополит Киевский — Владимир. Епископы Астраханские, замучены — Митрофан и Леонтий. Брошены в яму. Епископ Митрофан, Пермский, — расстрелян. Архиепископ Андроник — отрезали щеки, выкололи глаза, водили по улицам, утопили в реке. Архиепископ Черниговский — расстрелян, Василий. Епископ Тобольский, Гермоген — утопили. По приказу Троцкого привязали к хвосту бешеной лошади епископа Амвросия — в Свяжске. Епископа Исидора в Самарской губернии посадили на кол. Епископа Никодима в Белгороде забили — железом по голове. Епископа — в Ревеле, Платона, заморозили: водой обратя в ледяной столб. Замучены: епископ Лаврентий — Балахна. Пимен — епископ Верненский. Епископ Мефодий — Павлодар. Камышинский — Герман. Варсонофий — епископ Кирилловский. Ефрем — епископ Селенгинский, Мефодий — епископ Акмолинский. Иоаким — Крым. Симон — Уфа. Еще вам перечислять или хватит?..

Зверствовали иудеи и гои над монахами. Патриарха Тихона не пощадили. Не пощадили монахинь: приволакивали их к раскрытой могиле, отрывали им сосцы, живых заваливали сырыми комьями дерна, сверху кидали еще дышащего монаха, крича: “Справляем свадьбу монашескую!”

Зверствовали ордынцы, но не так! Зверствовали немцы, но не этак! И сегодня, сегодня, ныне, ныне, с еще не опавшими животами, набухшими русской кровью наших отцов и дедов, сейчас наследственные палачи, внуки Троцких и Минкиных, Адамовичей и Кагановичей, генетические демопалачи с требухой, требующей новых обжорств и новой русской крови, нюхом поганым ищут среди нас фашистов: не переворотчики ли, не оборотни ли ненасытные? ..

Русская кровь — на синих губах их. Русский ветер гнева — над Русью гремит. Русский народ, казненный народ, среди белых крестов поднимается. И белые лебеди летят над ним, летят над ним, летят!..

Иван Акулов не отличался прилежанием к церкви, но весь дух и свет его душевный к Иисусу Христу тянулся, реял и возносился к нему, — так в любом нормальном православном человеке русском трепещет истинною ласка материнская, с рождения в



нем посеянная.

Я тебе, добрый читатель мой, друг мой надежный и незаменимый, напомним несколько горьких высказываний из 2-го послания коринфянам святого апостола Павла...

“Ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных: Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо.

К стыду говорю, что на это у нас не доставало сил. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то, скажут, по неразумению, смею и я.

Они Евреи? и я. Израильтяне? и я. Семя Авраамово? и я. Христовы служители? в безумии говорю: я больше. Я гораздо больше был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти.

От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного; Три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской;

Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями.

В труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и в жажде, часто в посте, на стуже и в наготе”.

Россия моя святая, не за тебя ли все, все приму я: и жажду, и голод, крушение и смерть, лишь ты бы стояла, серебристо-звездная, лебяжье-белая и созывающая нас, грешных, в мире непостижимом!

Ленин издевался, вскрывая, над святыми мощами пророков православных, вот Сталин и уложил его в стеклянный футляр, а двери в мрачный Мавзолей распахнул; казнитесь!..

Зазнавшимся писателем не бывает. Зазнавшимся бывает задепутатенный околелитератор. А писатель, если он внутри писатель, — огромный, как русский Иванушка в сказке: приспеет минута — писателем явится к народу русскому. И пусть зазнавшийся — зазнается. Пусть одепутатенный — депутатится.

По-свойски вам он не подаст руки,

Он гений,—

на трибунах чубом плещется.

Ему повсюду только дураки

И очень недалекие мерещатся.

Со звездами на лацканах, среди звезд

Он крутится торжественно орбитой.

И хочет распрямиться в полный рост,

Да окриками воля перебитая.

И с юношества — мальчик на бегах,

Теперь седой, он понимает, злобствуя:

Отвагу проверяют на врагах,

А не вот так, то чванясь, то холопствуя.

И в нас, хранящих слова чистоту,  
Лакейство презирающих вельможное,  
Он видит ту святую высоту,  
Куда не приведет дорога ложная.

А на Руси, несытой испокон,  
Хвала тебе,  
коль ты крамолой меченный,  
А если уж и с каторгой знаком, —  
До правнуков, считай, увековеченный.

А ты, мол, дураки... Ты кто таков?  
Ты сядь, послушай, о себе радеючи:  
Из холуя — холуй, из дураков  
Являются Иванушки Царевичи!..

Русская сказка и теперь надеждами нас баюкает и питает. Жизнь нас пугает, а сказка поддерживает и ведет.  
Осторожность в обращении с писателем — лучший компас для политкапитана трибунного и кабинетного мореплавателя.

\* \* \*

Понравилась Ивану Ивановичу беспечным смехом и остроумными шутками обходительная райкомовская Светлана Петровна. Акулов около года тянул волюнку — как пригласить ее в гости, тушевался, и вот на втором году, уже первый квартал закончился, все-таки пригласил: расхрабрился, полагая — она, как и он, Иван Иванович, застенчивая.

С утра нажарил курятины. Грибочков соленых в тарелочки, окаймленные нитью золотою, наложил. Шпроты вскрыл. Вишню подсахаренную насыпал. Зеленого лучку прикупил. Холодною водою обрызгал для аппетита. Яблоки из погреба достал. Сыр ломтиками, квадратиками ровными, расположил. Колечками, тютелька в тютельку, колбаски нарезал. И шампанское — на шелковой скатерти: чем не праздник?  
Светлана Петровна вошла — дверь настезь. Через порог — ловко и бесцеремонно. Шубку сняла. Шапочку меховую — на крюк. Платье голубое. Серьги — жемчуг, серебро ли? Ноготки подкрашены, маникюр, на всех, на всех, и, как положено, на средних — перстеньки, перстеньки, кулончики на шее, ожерелье, но логично: партийная сотрудница, чай, а не барахолочная скупщица.

О музыке — Шопена задели, о живописи — Глазунова отметили, о прозе — Толстого уважали, о поэзии — к Пушкину подались. Шикарная встреча. Мне ли застить лампу интеллектуалам? И я тихо покинул гурманов, наслаждающихся беседою об искусстве. Эстет и эстетка.

А часа через четыре в окошко мне валенком снятым забарабанил Акулов. Я ни гуту. Акулов барабанит, крича и сопровождая крик наипричудливыми выражениями: — Увози ее, Валентин, увози немедля!.. Шампанским угостил — давай водки... Водку показал — выдула поллитру... Пошарила в кладовке — обнаружила зубровку и выдула!..

Съела, потянулась, нашла в кувшинчике самогон, со стакан, глотнула, и ползать вокруг ног моих, ползать:

“Ты, Ванек, поп?.. Ты, Иван Иванович, смирнее гаражного сторожа, забери меня, милый... Я развратная... Я проститутка партийная, из ленинского комсомола им, марксистам, доставшаяся, лови меня и лишай чести, Ванек!..”

Полусонный, перед Иваном Ивановичем я постукиваю зубами в передней, одергивая пляжные японские трусики, советских-то не хватает, а теплых, зимних, просто не продают: нету их. А Иван Иванович Акулов ждал меня в кальсонах, липецких, мохеровых, по благу приобрел, районный депутат, избранник в торжественном костюме и накрахмаленной рубашке, галстукот театральнo повенчанной:

— Увози, вот тебе три рубля на бензин, увози, Валентин, я сбежал!..

— Бак заправить — трояком не обойдешься!..

— Червонец даю, только увези, и как можно скорее, не включая фары!..

— Оштрафуют, я с вами тоже алкоголя принял!..

— Двадцать пять рублей, неразменных, даю. Валя, только увези, а... Она, Валя, райкомовская, а они в райкомах все распутные. Сначала кто-то ее туда заманит, а потом их, шалав, передают, секретарь секретарю, повышаясь по службе. А шлюхи постареют — переводят их инспекторами загсов или заведующими спецбиблиотек и ленинских красных уголков. Увози и увози ее, Валек, тридцать рублей отсчитываю тебе, на!.. Все выпила, все съела и ко мне: “Ты, Ванюша, не знаешь меня?.. Я, Ваня, распутная баба!..”  
Конец мне, если ты ее не отмчишь, Валя, я инвалид, изувеченный, Валя!..

— Ты, поди, Иван, о косыгинской реформе с ней бодягу завел?

— И что?.. — заподозрил Иван.

— Пьяной женщине какие же реформы нужны, тетеря?

— Я о реформе, а она о самогоне, о самогоне, копни ее — дочь какого-нибудь марксистского деятеля! Все они, как чадо Брежнева, лакают, заводи же!..

Я завел “Ниву” и освободил Ивана Ивановича, друга своего закадычного, от погромной гостыи, деликатной собеседницы и тонкой поклонницы искусства...

Мы, близкие к Ивану Ивановичу, знали: Иван скуповат, но и щедрым бывает, когда разгорячится за дружеским застольем, но щедрее и распахнутее, чем в тот поздний вечер, я Ивана Ивановича не видел: “Увези, Валек, сунь ее в “Ниву” и увези — магнитофон австрийский тебе подарю!..”

— А что Галине скажешь?..

— Галине?.. А у тебя когда день рождения, в декабре?..

— В июле...

— Фу-ты, черт!..

Года через два Иван Иванович заскочил в райком за характеристикой, я остался в “Ниве”. И вдруг бежит: “Она тама, тама, заводи машину, заводи машину. Валек, потом приедем!..”

Из множества партженщин Иван Иванович доверился единственной женщине, кроме Галины, — кандидату в члены Политбюро, заместителю Председателя Совета Министров СССР Бирюковой... Почему бы? Не разгадать. Асам от районного депутатства отрекся, потрясенный и обескураженный неадекватным волеизлиянием упившейся функционерки из райпартштаба:

— Я им по почте, по почте удостоверение!..

— Трухнул?

— Я солдат. Чиво трусить?.. Лауреат. Награды имею. Не заикаться же мне, как Михалкову, перед инструкторами?..

Акулов считал: Александра Павловна Бирюкова гораздо надежнее мужиков Политбюро, если она не утонула в их ленинском вертепе, выбилась, а не спилась, как его знакомая, а мы еще и на ее имя послали текст письма. Членов Политбюро, мужиков, Иван Иванович относил к разряду вихляющихся проституток, запеленгованных мафиями и ЦРУ на ликвидацию СССР.

— Бездельники и бляди! — жаловался он...

Иван Акулов ценил в Иване Шевцове стойкость духа, устремленность разума, верность солдата. Нередко они потчевали друг друга подковырками и поучительными историями. Соперничали в определении характера того или иного человека, деятеля, художника, предрекали события, неотрывно следя за нашей повседневностью.

Вот Иван Иванович Акулов, смежая веки, посиживает в дачном кабинетике Ивана Михайловича Шевцова и с ленцой, как бы полузабыто, говорит:

— Чуток выпил, чуток, еду на такси мимо Союза писателей РСФСР и решаю: заверну-ка я на минутку, вопрос есть к Михалкову, и — на второй этаж, по лестнице мраморной, сунулся, а Толик Алексин припер в углу Сергея Владимировича Михалкова, председателя, лауреата, соцгероя, депутата, академика, автора гимна СССР, припер и щекотать его по усам, по усам, когтем!.. Сергей Владимирович мотает очкатой головою, при-гнувается и увертывается, актер же, а Толик Алексин ловит и — по усам, по усам одного баснописца!.. Иван, кто же, кто же нами, русскими писателями, руководит, кто? Михалков или Алексин? И за что Толик скребет по усам Сережу, интеллектуала и дворянина? Подпрыгивает, пупырь, и по усам, по усам щипать, а ведь Михалков на почете у Брежнева!

— Гой проштрафился! — хохочет Шевцов.

— Если Михалков гой, тогда кто Алексин, подстилка? — допытывался Акулов.

— Алексин?.. Обшорканный в коридорах Сиона масонишко!.. Сбежит в Израиль, осчастливит Россию и нас, диссидент!..

И сбежал. Сбежал, строчит воспоминания и мемуары, зацелованный ЦК КПСС членкор, лауреат премии Ленинского комсомола, Государственной премии РСФСР, Государственной премии СССР, секретарь Союза писателей РСФСР и секретарь Союза писателей СССР, Герой Социалистического Труда СССР.

Я давно влюблен в Сергея Владимировича Михалкова — интеллигентнейший господин: за что его возненавидел Толик Алексин, коротышка, за что он Михалкова, высокого и деликатного, валтузил по усам?.. Баснописец Михалков — равный баснописцу Крылову, но Ивана Андреевича никто не пытался запереть в углу и покорять. Ну и времена!.. Израиль разбаловал своих подопечных в Москве, а нам, русским, в Тель-Авив и не сунуться. Паразиты.

Толик Алексин обещал Ивану Акулову и мне устроить литературные передачи по экрану центральному, бравирова заглупленными связями с Генрихом Боровиком, Андреем Дементьевым, с тельавивцами и телевизионщиками, захватившими башню в Останкино и вещающими нам еврейские штучки двадцать четыре часа в сутки на нашем русском языке. Обещал, но обещание не выполнил: не Сергей ли Владимирович Михалков обидел Толю Алексина и своей небрежной помпезностью не поторопил ли Толика покинуть нас и махнуть в Израиль? Ой ли. Галлюцинация...

Иван Иванович Акулов — деспот страданий: Россия для него жизнь и смерть.

Придирался к Феликсу Чуеву, но заочно, как я уже отметил выше, философствовал: “Феликс-то прав. Сталин спас империю. Ленин разорил, а Сталин спас, да царских орлов над Кремлем захотел снова навесить, но... Чуев прав — отравили царя, отравили. Евреи, русские ли, нивхи ли, эстонцы ли, но отравили.

Чуев опровергает: на френче генералиссимуса не золотые пуговицы, а медные. Феликс рискует: а вдруг золотые пуговицы у Иосифа Виссарионовича на ширинке, вдруг?.. Пусть Чуев покопается поприлежнее и побдительнее, вдруг?.. Но Феликс достойный поэт. Не шатается, не предает, и Сталина, императора усатого, обожает. Не утверждать же ему Горбачева, кавказского вороватого цыганина, ловко подкастрированного каким-нибудь Толиком Алексиним?..”

Упрекал Геннадия Серебрякова: “И этот помешался на Сталине. А ты. Валя, их защищаешь. И тебе, Валя, Сталина жаль? А он вас не жалел, гоня по тюрьмам и гоня по сражениям наших братьев, отцов и дедов, не жалел, а вы пожалейте императора, пожалейте! А вдруг. Валя, вдруг Чуев прав? И вдруг Серебряков Геннадий прав? Сталин, конечно, рубанул по ленинской гвардии, рубанул, эх, кацо, и рубанул, спасибо ему, Валя, грузину, русские-то трусили, а он рубанул, Бирюкову бы ему в жены!..” По мудрому державнику тосковал Акулов, по сильному народу скучал, Россию хотел видеть мудрой и сильной, Россию великой и независимой видеть хотел.

Родина моя, земля святая,  
Как давно не пели соловьи,  
Коноплею дикой зарастают  
Избы деревянные твои.

Ну а солнце прежнее в зените  
Льет над бездорожьями лучи.  
И встают  
то в бронзе, то в граните  
У Кремля седого палачи.

И когда шумит дождями лето,  
Край ветрами грозными продут,  
В смертный бой солдатские скелеты  
Под Смоленском все еще идут.

Сколько жизней тут перекипело,  
Не просты у воинов дела:  
Схоронить Россия не успела,  
А Европа славу отняла...

И у Спасской башни на пороге,  
Под багровым стягом октябрей,  
Вызревают новые пророки,  
Гениев усопших не добрей.

А в туманах,- по лесам и рекам,

Мать слепая медленно бредет,  
Говорят — она уже полвека  
Пирамидку сына не найдет.

Родина моя, земля святая,  
Снегири, кукушки, соловьи,—  
Коноплею дикой зарастают  
Избы деревянные твои!..

Чувствуя приближение смерти, Акулов упрекал меня в трусости, требуя беспощаднейшего текста телеграммы к архитектору перестройки, и текст отшлифовался к полудню 18 декабря 1988 года:

Москва, Кремль, Верховный Совет СССР

До каких пор вы намерены терпеть у руля государства и партии Горбачева, болтливое человека или предателя, подчиненного полностью разрушительной идее ненавистника русского народа Яковлева, энергичного и агрессивного агента ЦРУ?  
Гнездо сионизма не в Тель-Авиве, а в Москве, под главным куполом Кремля. Мы, русские писатели, требуем суда над изменниками Родины!

Иван Акулов  
Валентин Сорокин

Издыхать, сомневаться, хвататься за перо и отбрасывать его Иван Иванович Акулов мог, но мог, пока не принял решения, а принял — закаменел, ничто уже тогда его не пошатнет:

— Мерзавцы, Валя, и Сахаров мерзавец!..

— Почему?..

— Предатель, почему?.. Предатель и мерзавец... Мерзавцы!..

Предчувствие смерти, предчувствие крушения державы... Волчьи стаи мерзавцев, оккупировавших радио, телевидение и газеты, заслоняли последние надежды пред Иваном Акуловым на порядок и на судьбу: он отбывал к звездам и к звездам, где вечность лечит взор нам холодной синевою.

Не вякнула опричнь ЦК КПСС... Письма и телеграммы отправили мы всем, всем, даже Бирюковой и Лукьянову...

\* \* \*

Невероятно пронизательный и меткий, Иван Иванович нередко впадал в детство:

— Валя, ты на чужих-то эпиграммы строчишь, пародируешь Фукса, Неймана, Коротича, а меня, верного друга своего, нигде не афишируешь, слабо?..

— Не слабо, а я люблю тебя, Ваня!..

— Распространи эпиграммку, распространи, да не ехидную! На Андрея Блинова, читал мне Шевцов, у тебя есть эпиграмма, а на Акулова черкнуть у тебя и секунды не

находится, тоже — дружок!  
— Слушай, — реагирую я, — слушай!

Самый умный среди диких аулов  
Не Блинов, а, конечно, Акулов,  
В каждом слове его — чудеса,  
Настоящий Гамзат Цадаса!..

Акулов хотел улыбнуться, но обиделся и побежал из моего дома, а у дверей амнистировал меня:  
— Разве это эпиграмма? Вот на Мишу Горбачева эпиграмма так эпиграмма!..

Миша выше пионера,  
Райка с ним осанится,  
Скоро нам от СССРа  
Пятнышко останется.

Вспомню — потеха... Когда я увозил Светлану Петровну, рай-комовскую собутыльницу Ивана Ивановича Акулова, на “Ниве”, Иван Иванович почти протянул мне трояк, но перерешил — мало же, и убрал трояк в карман длинной чехословацкой дубленки, приобретенной им в Праге, пригласившей Ивана Ивановича, ветерана Победы, на праздник города.

Дубленка забегала лапами вперед, и Акулову, лауреату и ветерану, чтобы двигаться дальше, необходимо было совершить маршевый шаг или даже два, три по дубленке, полам ее, пластающимся по округе...

— Не гони!.. — охладил меня Иван Иванович.

— Я и не гоню!..

— Райком везешь, учти, ухарь!..

Рванулись. Перескочили на четвертой огромное поле. За белым полем Троице-Сергиевой лавры храмы куполами в небе зажглись, как великие свечи золотые, хором искрят и светят в русскую душу. А мы летим, но уже на третьей, число “три” невезучее для Ивана Ивановича Акулова: трояк, три шага, третья скорость... И вдруг “Ниву” развернуло, еще развернуло и третий раз повернуло и поставило снова в нормальное положение — катись!..

Райкомовская собутыльница очнулась от алкогольного зад-ремления:

— Погибнем в катастрофе, об Акулове и Сорокине газеты сообщат народу, а мне посмертный выговор, строгий, в личную карточку, учетную, вмажут!..

— Акулов-то дома остался...

— Ах, Иван Иванович разве не с нами?..

Вот и райком. По карнизу шаркает многометровый трехлицый портрет: Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Владимир Ильич Ленин. Сосредоточенные, суровые, в жилетах, пролетарские — конец белому свету: какие тебе храмовые купола, балде?..

Вернувшись, ткнулся “Нивой” в дежурившего у калитки Ивана Ивановича. Он брезгливо приподнимал пальцем пражскую дубленку, постукивая валенком о валенок:

— Отвез? А трояк тебе дать, а, дать, а?..

Иван Иванович обожал экспромты. Уезжая, тогда, из Челябинска, мы купили два

последних “кастлинских” Мефистофеля. Ему достался бракованный — пошатывается у основания. Чугунные. Тащить тяжело. В Москве, вылезая из такси, я заметил, как Иван Иванович тактично подменяет бракованного черта, Мефистофеля, на здорового, моего. Я сделал вид — мимо. И он сделал вид — мимо. Но я догадался о подмене, и он догадался, что застигнут мною... Я промолчал — и он промолчал. Прихрамывающий черт и сегодня в моей квартире. Гляну — вспомню друга, но не подмену, а рассказ Ивана Ивановича, сообщившего мне уникальную тайну суперподмены мирового масштаба, а может, и космического.

Вроде бы цэрэушники Рейгана, президента США, давно выращивали и давно натаскивали двойника Михаила Сергеевича Горбачева. Средний ростом и умом. Глуповатый даже. Масляно-мазутное пятно на башке. И вместо “г” запускает на язык “х” и мягкий знак присобачивает к “т” и к “д” по личному усмотрению: “узятки берут и хлядят”, а не по правилам грамматики и фонетики: “хромхнеть”, “утвярждаить”, “куды завядеть”...

С нашим Горбачевым Рейган в Рейкьявике спорил, спорил и отослал его в Калифорнию ставропольский самогон варить. Американского же Михаила Сергеевича назначил вместо нашего, доподлинного, переговоры продолжать, тот и продолжил: все предал, подписал и объявил.

— И не догадались в Политбюро, члены? — удивился я.

— Не догадались, кикиморы, ископаемые!..

— А Раиса?..

— Раиса?.. Раиса приспособилась. Попробовала — американский лучше, и заткнулась, а начали копать чекисты, она завизжала: “законного мужа отбирают, законного мужа отбирают!..” Баба, известно, кошка и кошка, лишь погладь ее!.. Мы, дескать, в МГУ помолвлены...

Черт? Мефистофель? Дьявол? Грешник? Садист? Убийца? Палач? Да, в углу моей комнаты — чугунное изваяние мыслящего зла, интуитивной хитрости, изваяние зависти, образ мифического вампира, сосущего душу и кровь человека: кровь творца и труженика.

Чем его заменить? Добротою — не согласимся. Красотою — не получится. Светом — слишком черный. Порхающим существом — чугунный. Чем заменить? И кем его заменить? Но меняют и меняют. И не советуются ни с нами, ни с народом. Меняют нам — голям, потерявшим контроль над махинаторами.

Как Ельцин танцевал перед президентскими выборами? Артист Рейган в подметки ему не годится. Пел, приседал, аляля-кал, чокался ковшами бражными, физзарядку зафиговывал на сцене. А избрали — распух, оплыл. Расползся и оглухонемел: непостижимее Мефистофеля, страшнее черта, противнее беса! Такому ли симпатизировал русский писатель, израненный в бою защитник страны Иван Иванович Акулов, уралец, талантливый и бескомпромиссный?

Нет, Бориса Николаевича не подменили. И у Наины Иосифовны не надо допытываться. Не подменили. Кому он нужен? Он и самогона-то в Калифорнии не сварит, хотя — выпивоха. Не подменили. Наш. Доморощенный, Мефистофель и садист.

Акулов не раздражался чьим-то успехом, но восхищался и благоговел перед профессиональной ловкостью и мастерством. Заруливаю я на “Ниве” в гараж, он командует:

— Влево!.. Вправо!.. Прямо!.. — командует, наслаждаясь. А я выскакиваю из машины:



— Не мешай!..

Прикинул расстояние, ворота, стену — рывок и, как по щучьему велению, “Нива”, помигивая подфарниками, шмыгнула под крышу.

— Ай, молодец!..

— Ты командовал!..

— Я, Валя, восемь лет учился заруливать на “Москвиче” во двор. Влево сдам — правый столб выломаю. Вправо сдам — левый столб сворочу. А прямо нажму — калитку высажу. Беда. Ты же — ас!..

Норовил на моей гармошке пиликать “Солдатский вальс”, да не осилил мелодию. Но за частушечную игрою я заставлял его. Мехи гармошки развернуты. Лады звенят. Басы прищелкивают:

Ленин рыжий, Сталин рыжий,  
Дети папы одного,  
Ну, а я, такой бесстыжий,  
Не похож ни на кого.

Немцы Пушкина учили,  
Мы зубрили Маршака,  
Потому нам и всучили  
Вместо “форда” ишака.

Если был бы я грузином,  
Закатил истерику:  
Не зальешь ишак бензином —  
Не догнать Америку!..

— Политическая сатира, Ваня, сатира!.. Маяковский, Маяковский!..

— Лозунг для сортира, Валя, для сортира!.. А Маяковский — хрен московский!..

\* \* \*

Борис Николаевич Ельцин воще... Наина Иосифовна, а племянник ее — Боря Немцов, а дружок ее Танечки — Анатолий Борисович Чубайс, а Булгак Владимир Борисович, а Борис Абрамович Березовский?.. Первые рулевые в правительстве. Борухи неистовые. Русские державники, антисемиты, гавкающие на русский народ, отнимающие у него трудолюбие и нравственные наследственные достоинства.

Ясин — министр. Почти Арафат, антисемит, русский человек, опекаемый Борухами. Кох. Не тот Кох, разоблачивший туберкулезный вирус, нет, но Кох, где русского некоха взять? Некохи Боруху не нужны, и он им тоже. Абрамы и Абрамовичи в цене, антисемиты, русские кохи, на мшистого Сатарова смахивающие физиономиями, а побреются — глаже Гайдара, рязанского Вани, ну чем Гайдар не деревенский русский гармонист? Антисемит израильский.

А Лифшиц разве не из Рязани? Распахни он вышитую русскую рубашку на еврейском телеэкране — рязанский Ваня, а болтают — еврей и антисемит, русский финансист, бессребреник. У Бориса Николаевича выбор огромный: Сагалаев — на телецентр, а

попался он на чем-то, Ельцин, русский человек, патриот и славянофил, заменил Сагалаева на Сванидзе.

И Сванидзе разве не из Рязани? Пусть он, наверное, не является, как Борух Немцов, племянником Наине Иосифовне, супруге президента России, пусть, но он — Сванидзе, а не Петров или Сидоров, хотя и Сидорова поскреби — чистый еврей порою, роскошный израильтянин, преданный Борису Николаевичу Ельцину, антисемит, поди?

А куда из Кремля отослали Махарадзе? Заменяли на Юмашева? Русского на русского менять — время терять. Некоторые малограмотные бомжи тычут грязным пальцем в президента: “Обставил себя нерусью антисемитской президент и балуется над русскими, еврей почтенный!..” Но разве Уринсон, вице-премьер, не из Рязани? Уринсон, Резник, Якобсон, соколы русские, ну где им парить? В кремлевском небе.

А если подменили?.. Если наш Борис Николаевич — спортсмен? Если специально капиталисты подложили нам свинью? Горбачев — тайна. И Ельцин — тайна. И Акулов — тайна. Кто поведал Ивану Ивановичу о губительной инсинуации, кто? Некоторые убеждены: Горбачев почти нормально произносил “г” и мягкий знак присобачивал почти нормально, а подкинутый цэрэушниками Михаил Сергеевич и “г” произносил гундосо, и пятно маслянисто-мазутное не с той стороны на башке.

Одни убеждены — наш Михаил Сергеевич имел знаменитое пятно с правой стороны, другие убеждены — с левой, да и пятно у нашего глобалистее, с карту СССР, а у американского Михаила Сергеевича — с рейкьявикский договор, а на букву “х” давит ретиво, пережмет, и “г” зазвучит в аудитории развязно, как на экране, поглощая и обызраивая “р”...

Раиса же после первой ночи, как вернулся он из Рейкьявика, заневестилась и лифчик чехольного формата заказала: цепкий, гад, упругий, ей и нравится... А почему и не быть ему упругим? Отменные продукты: творог, индейка, икра, шашлыки кавказские. Шеварднадзе ему и в США жарил. Какая Эдуарду Шеварднадзе разница угощать шашлыками, ихнего или нашего Михаила Сергеевича: оба они и втроем с Шеварднадзе по СССР ударили!..

Рае повезло: качественней прежнего свежего мужа прислали. А Наина? Наина Иосифовна скромнее Раисы Максимовны: надули ее — терпит. Тот, ее Боря, — чемпион, с дикторшей Светланой Сорокиной якобы в теннис на соревнования убегал из санатория, а этот и с ней, Наиной, женою зарегистрированной, не хочет посостязаться, да и сил у него нет махнуть на мух ракеткою. Вытек Самсон...

Не везло Ивану Ивановичу Акулову, другу моему шebutному, писателю русскому, на трояки, женщин, пчел и кур. Трояки дешевели, дешевели, а в гайдаровский губошлепный период вовсе исчезли: новые русские, хапуги и плантаторы, бросились набивать карманы алмазными и золотыми миллионами, — до трешек ли перестроечным свиньям, чавкающим русской святою кровью у прозападных корыт?..

Лежит Иван Иванович на изумрудной травке во дворе своем, лежит и муравьиною тропку рассматривает:

— Валь, во дисциплина!.. Бегут, не бодаются, как мы, русские, и каждый, каждый, Валя, на спинке вещицу тащит, китайцы, а не муравьи. Валя! А мы работать перестаем, работать!..

Голова болит у Ивана Ивановича, но похмеляться Иван Иванович не намерен.

Философствует со мною:

— Каждый муравей. Валя, движется с кладью по назначению, предписанному ему, а мы,

русские, возле трояка втроем сгрудимся и не можем из трех человек единогласно парторга себе избрать тайным голосованием, а открытым — передеремся окончательно, так?

Брат сидит, старший, на травке рядом. Фиофил Иванович Акулов, но пишется родной брат — Окулов, мы же, русские люди, ценим размах и оригинальность мысли! Сидит, копия старшая, старшая фигура породы уральской, акуловской, кержацкой — из кремня и голубой стали...

— Иван Иванович?..

— Да, Фиофил Иванович!..

— Под Москвою русский народ-то гибнет?..

— И под Свердловском гибнет, Фиофил Иванович, гибнет!..

А пчела начинает виться, виться и жужжать, жужжать над кудлатым Фиофилом. Иван Иванович поднимается и хлопает в ладошки, радуется ситуации. Но пчела взвизгивает и с металлическим звоном вонзается в нос Ивану Ивановичу Акулову, отцепясь от его родного старшего брата, Фиофила Ивановича Окулова. Русское чудо...

У Ивана Ивановича прекращаются в голове философские недоразумения, он крутит, как вертолет лопастями, ладонями, и кричит брату:

— Бей ее!.. Бей ее!.. — А получается: “Бе-ее!.. Бе-ее!..”

Через денек, за чаем, я сообщаю братьям следующее:

Соседа пчела  
Укусила  
И сильно тем самым  
Взбесила.

Он бегал  
По огороду  
И жаловался  
Народу:

— Вон как раздуло  
Рожу,  
Пымаю  
И уничтожу!

Жук рядом обедал  
В траве,  
И реяла мысль  
В голове:

— Вчера, когда мед  
Ты ел,  
Не был так дик  
И смел!..

Иван Иванович отодвинул фарфоровую чашку, сложил, Будда и Будда, ладошки:

— Фиофил Иванович, пчела угадывает умного и кусает его, а не того, кто ее испужался, хи!..

Старший брат Ивана Ивановича Акулова Фиофил Иванович Окулов очень доволен: младший дерзит, а старшему приятно.

Мы, русские, тоже — нормальные люди, не каждый русский кусает каждого русского, а пчеле и без нас, троих, есть на ком искристое жало испробовать: дураков — пруд пруди!..

В Москве на Высших литературных курсах ударил Ивана Ивановича внезапный сердечный приступ, и буквально из общежития на себе я принес Акулова в поликлинику. Утром. А к обеду, оклемавшись, Иван Иванович принялся варить куриный бульон, планируя отблагодарить меня и подкрепиться, поскольку мы с неделю голодали, экономя нищую стипендию для жен и для детей, ожидающих на Урале от нас помощи. Акулов из комнаты вбегал на кухню. Из кухни — в мою комнату. Нюхал, взбадривался. Мыл тарелки и ложки. Гремел. Затихал. Сеял перцем и солью. Мурлыкал “Катюшу” и наконец, распахнув окно внутрь тяжкими створками, побритый, в белой рубашке, попахивающий луком, ликующий, с кавказской щедростью позвал:

— Садысь, тыруг!..

Иван Иванович за столом. Белая рубашка. Белая скатерть. Белый подоконник. Белая кастрюля на белом подоконнике. И я — широко, широко, шире створок окна, распахиваю в гостеприимную комнату Акулова дверь. Распахиваю, а створки окна поехали, поехали, поехали, бац — и кастрюля с бульоном и с курицей, мелодично дзинькнув, опрокидывается на улицу с седьмого этажа.

Суровые, в лифте летим вниз. У дома — белый пушистый снег. И заиндевелые февральские белые деревья с тихим любопытством разглядывают меня и Ивана Ивановича Акулова, состряпавшего бульон с курицей. А курица, нахлебавшись горячего бульона на кавказских специях, застряла в рогатке высоченного тополя, застряла, уселась и оттуда наблюдает за нами.

Иван Иванович подтянул галстук на белой рубашке:

— Московская подлость!.. Запой туг сейчас Марк Бернес, она заезжит и к нему с дерева кинется, голая стерва!..

Но курица помалкивала. А время накатило и смыло райкомы — с трешками и красавицами, унесло братьев философствующих, и лишь пчела вьется и жужжит над весенним тюльпаном красным, похожим на огромную каплю свежей крови.

Иван Иванович Акулов не застал катавасии, когда президентов СССР и России цэрэушники подменяют своими агентами, выращенными в секретных лабораториях Чикаго, а супруги истинных президентов наших вынуждены, обнаружив аферу, скрывать иностранную марку, “липу”, от нашей настороженной общественности.

Иван Акулов угадал главное: предательство лидеров и надвигающееся горе. С этим горем он и сошел в могилу. Господи, упокой душу праведника!..

Зловещий, а в грядущем и планетарно опасный метод заменять лидеров СССР и лидеров России на американцев вслед за Иваном Ивановичем Акуловым тайно, про себя, открыл и Аршак Тер-Маркарьян, известный русский поэт, православный армянин, воспитанный великим земляком своим — Михаилом Александровичем Шолоховым: не предавать, служить России кровью собственной и словом неподкупным.

Аршак полагает: Ельцин не заменен американцами. Действительно — шумно пил, глушил водку, а теперь болеет. Но супруга Ельцина, Наина Иосифовна, возможно, заменена...

Рассказывала сказки нам о чемпионском здоровье Бориса, а клюнул жареный петух — завертелась: слезы настоящие, платочком вытирает...

Аршак Тер-Маркарьян считает: Рыбкин Иван заменен. Да, заменен — тот, партийный Иван Рыбкин, моргнуть не успел, раз — и в России уже другой Рыбкин, в Совете Безопасности, уселся, американский Боб. Аршак, мудрый человек, по-восточному убежден — и Черномырдин заменен, иначе зачем он ошарашивает нас, Черномырдин-то: “Что творится в стране? Не мешайте нам работать! ВДВ у России будет! И флот у России будет! Не мешайте нам работать! Что творится в стране?..” Американец. Русский человек — Чубайс, типичный прибалт с рыжим тель-авивским отливом, и крепко в кресле кремлевском держится: боится — ворвутся русские с топорами и примут его, патриота России, за Бирона, полкана очередной кремлевской суки, шлюхи, взлезшей из вонючей кровати хахала на престол России, но за хахалем, за хахалем, толкая его впереди себя! Паскудница... Телобазарница мутноглазая.

И коммунистов подменили: вчера марксизм на зубах у них алмазинами скрепел, а сегодня — спикере американский жуют, бестии, а на московских площадях и на автобусных стоянках орут:

— Долой американцев!..

— Да здравствует социализм и народно-патриотическое движение!..

Победил социализм: все вожди заменены американцами, прикинуть — и Ленин, поди, давно заменен американцами, еще до болезни, сразу они заменили, и в Мавзолее показывают нам, идиотам русским, не Ильича, а техасского кочегара, который в Петроград прикатил на финском паровозе...

\* \* \*

Перенести бы могилку Ивана Ивановича и Галины Григорьевны Акуловых из-под Сергиева Посада на Урал, где лежат родители писателя, в земле каменной, легендарной. И сам писатель, сын их, России замордованный сын, — легендарный. Другой народ, другая страна памятник бы ему воздвигли.

А у нас — могилка зябкой травой укуталась. Осень стряхнула свяленные листья с берез и осин. Ветерок покачивает на могилке высохший стебель, да мохнатый вьюнок, чудом уцелевший и еще зеленый, две гранитные плиты, тронутые заветным багрянцем, обнимает: и мертвые они, Иван да Галина, друзья наши, природою соединенные, так и в зиму канут.

Могилка Ивана Ивановича Акулова на родине его, на Урале, менее, кажется мне, горюнилась бы: школьник вихрастый заглянул бы, старый солдат в День Победы букетик опустил бы, молодая поклонница книг Акулова с мужем у плеча да с ребеночком на руках удивилась бы светоносному имени, земляку, упокоившемуся за оградкой. Народ края — память и любовь края к мыслителю и страдальцу благородному.

Но дзинькнут морозы льдинками стальными. Космами закуржавелыми буран взмахнет. Древние русские холмы пригнутся и застонут под гикающей скачущей метелью. И на самой высокой колокольне Троице-Сергиевой лавры звон золотой вспыхнет: удар, еще удар, еще удар — и потечет музыка вечности и горячая боль грянет в просторы нащи, русские и терпеливые!

Перед воротами гордого монастыря, в Сергиевом Посаде, бабушка перекрестится, а на Урале, где-нибудь за Екатеринбургом или за Ирбитом, юный пророк светом очей

акуловских стезю собственную в мире опасном обнажит:

Не падай, Россия, духом, я сильный и я с тобою,—  
Щитом я тебя прикрою и собственную судьбою!

Снегом русским осыпанная, вьюгой русской припорошенная, высоко над холмами русскими — могила русская, не падает и не колеблется, а сквозь русский народ движется...

Родился Иван Акулов 7 сентября 1922 года в деревне Урусовка Туринского района Свердловской области. Долго жил в Свердловске. Переехал в столицу, известность усердием и честью таланта крепить, здоровье и время раздумиями испепелять...

В Москве 25 декабря 1988 года ему стало плохо: одышка подкатилась к нему и сжала сердце. Дочь и зять были дома. Еле-еле спасли его от мертвого оцепенения. Это — днем. А вечером — позвонил мне. Слабый, ясный, как седой стебель, вырвавшийся из-под зноя, — взъерошенный:

— Уедем с тобой завтра в деревню, уедем?.. Я расскажу тебе, что я почувствовал и увидел, теряя сознание... Уедем, Валь, уедем?..

— А дети твои?.. Ребята?.. Обидятся на меня?..

— Ты мне, Валентин, дороже детей, не обидятся!..

А к ночи метель началась. А в ночь — вьюга завывала. А к утру — пурга затрясла фонари на железобетонных столбах столично-каменных проспектов, загудела в каменных дворах, зазвенела в окнах гранитных зданий. Москва, Москва, как ты несправедлива и как ты неразумна!.. На рассвете Акулов скончался.

Собрание сочинений — Адамовичу ты, Москва, издаешь. Очередную визу в США ты Евгению Гангнусу припасешь. Музей в нижегородской элитной квартире — ты Сахарову откроешь, брежневскому ссыльному страдальцу, гостю римского папы, теоретику атомной Чебурашки, наставнику Горбачева и Ельцина. Да, забудет Москва, столица русская, о великом русском сыне своем: честнейшем писателе русском, солдате-фронтовике, изможденном бешеными атаками, израненном немецкими пулями, отравленном окопной водкой, сожженном уральской ядерной мутью!.. Забудешь, запамтуешь, заобидишь, предашь.

Скажи, не стыдно тебе, Москва? Скажи, нестыдно тебе, столица русская? Мы ведь когда-то не сомневались в тебе, Москва. Мы ведь опору видели в тебе, Москва. Мы ведь матерью считали тебя, Москва. А может, и ты, родная наша, уже давно не в силах справиться с мафиями предателей и торгашей, бандитов и лазутчиков, Москва? И Кремль твой красный давно занят врагами, чужеземцами лютыми, оккупировавшими тебя, Москва?

Москва... Россия... Все русские кресты — перед глазами нашими и в душах наших: они кричат. Все русские обелиски — пронзают русское небо над нами: и горе врагам нашим!.. Не молнии, а мечи — над полем Куликовом!.. Разоренные русские храмы — восстанут. Убитые русские души — воскреснут. И русская багряная свобода грянет и сметет незвано замешкавшуюся в наших синих просторах орду!

Вы думаете — вознесенные за труды Федор Абрамов и Анатолий Иванов не восхищались прозой Акулова, а невознесенные Николай Воронов и Владимир Чивилихин, Константин Воробьев и Григорий Коновалов миновали его творческие скорби и ликования? Нет и нет.

Просто, к сожалению, Ивану Акулову, современному классику, уральцу, не повезло на лучи славы, как не повезло им, как не повезло современному классику, вологодцу, Александру Яшину, чьи рассказы гениальны, и как, например, не повезло современному классику, сибиряку, Василию Федорову, чьи стихи и поэмы поколениям помогут...

И сейчас предостаточно русских джамбулов и русских айтматовых, без коих хоть одно место да пустеет в депутатском зале, хоть один микрофон да ждет их озарения. Они — в себе. Они — для себя. Они — у восставших... Они — у владык... Русские, а неистребимее провинциальных тараканов, а мы: “масоны”, “масоны”, “евреи”, “евреи”, — кто масоны-то, кто евреи-то, — джамбулы и айтматовы или же мы с вами?..

Предупреждал же меня по поводу соцгеройский голос:

— Ты молодой главный редактор, а запустил в набор Акулова? Смотри, смотри, молодой, а в набор запустил?..

— Молодой, попереживаю, подрожу, а старику чего и кого робеть?..

— Смотри, смотри!..

Ах, Толик, Толик Алексин, еврей ты мой ненаглядный, обернись русским, командируйся в Москву, выхлестай нас по морде, по морде за равнодушие русское к судьбам русским и возвратись в объективный Тель-Авив, ты, узурпатор блистательный незаменимого права чаяний национальных!..

“Русский фашизм!”...

“Русский фашизм!”... — и накличат на свой верблюжий горб мошенничеством и оскорблениями: явится Адольф и вздрючит!..

## БЕЛЫЙ ХРАМ

Памяти Ивана Акулова

Белый храм в зеленом поле,  
Ты на много лет затих,  
Столько радости и боли  
В стенах спрятано твоих:

Изменяли и венчались,  
Предавали и клялись, —  
Тройки  
трактами  
промчались,  
Воронные пронеслись.

Здесь, в рубахе рукавастой,  
Схожей с высверком зари,  
Били в колокол бурдастый  
Громовержцы-бунтари.

Плески чудные распевов,  
Долгий стон  
и гневный зык,

Потому из медных зевов  
С корнем вырвали язык.

И от края и до края,  
Так, что ярь не убережь,  
По толпе гульнул, карая,  
Гнутый бериевский меч.

Храм обычный и нетленный,  
Словно каменщик простой,  
Ты поднялся над вселенной  
Врачевальной красотой.

Непростудный, неподсудный,  
Встал сквозь гибельную чадь  
Наши судьбы в жизни трудной  
Звездным светом отмечать.

Подвиг предков ненапрасен:  
Приглядись — по Волге вновь  
Проплывает Стенька Разин,  
С весел стряхивая кровь!..

Еще взлетят красные зори над Россией. И светом красным, Христовым светом, дали  
запламенеют русские! В декабре умер Акулов. А незадолго до его смерти мы  
задержались у Могилки Галины Григорьевны. Дождь холодный. Березы холодные. И  
осины заледенелые.

Иван Иванович зябко поежился:

— Как ей теперь там холодно, как теперь там Галя, одна, замерзла!..

1997